

ЭЛЗА ВИНТЕР

МЕЖДУ нами



18+

18+

Юлия Стэфани Херрера

Между нами

«Автор»

2026

Херрера Ю.

Между нами / Ю. Херрера — «Автор», 2026

Жасмин Аль-Танни приезжает из Дохи в Москву, чтобы учиться медицине. За её спиной — семья, достаток и жизнь, в которой многие решения уже давно приняты за неё. Но Жасмин хочет хотя бы раз выбрать свой путь и доказать себе, что её ценность определяется не фамилией, деньгами или статусом, а тем, чего она способна добиться сама. Адриан Кузнецов привык рассчитывать только на себя. Их знакомство начинается с неприязни, но совместная учёба постепенно меняет всё. За спорами, взглядами и случайными встречами рождается чувство, которому не должно быть места в их жизни. Ведь Жасмин замужем. Рядом с ней Амир — человек, с которым связана её прежняя жизнь, семья и обещания, данные ещё до того, как она поняла, чего хочет сама. Между ними тысячи километров, две культуры, семейные обязательства и слишком много невысказанного. «Между нами» — история о любви, выборе и цене честности, когда впервые приходится решить, жить по чужим ожиданиям или наконец выбрать себя.

© Херрера Ю., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Белая ворона	5
ЖАСМИН	5
Глава 2. Лед и анатомия	13
АДРИАН	13
Глава 3. Муж	20
ЖАСМИН	20
Глава 4. Ответ	27
АДРИАН	27
Глава 5. Белая ворона	35
ЖАСМИН	35
Глава 6. Метель	42
АДРИАН	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Юлия Стэфани Херрера

Между нами

Глава 1. Белая ворона

ЖАСМИН

Сентябрьский воздух Москвы ударил в лицо, с размахом, как бьют с локтя. Не тот сухой зной Дохи, в котором я выросла и где лето давит отовсюду разом, как раскаленная печь. Не та влажная жара Сан-Хуана, где до сих пор живет мамина родня, воздух там густой и тяжелый, как мокрая марля. Здесь было что-то совсем другое: сырой холод, который забирается под кожу и остается, обустроивается в костях, как жилец, что не собирается съезжать. Пахло выхлопными газами, мокрым асфальтом и далекой водой Москвы-реки, уставшей от осеннего тлена.

Я стояла у крыльца Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и сжимала ремень сумки так, что костяшки побелели. Здание нависало над мной: сталинский монолит из серого камня, колонны, будто оторванные от греческого храма, но тяжелее и грубее. Над входом, в барельефе, выцветший серп и молот, призрак мира, которого я никогда не видела.

Мимо проходили студенты, по двое, по трое. Все они были бледные, это первое, что я заметила. Бледные, закутанные в ранне осеннюю одежду: длинные пальто, джинсовые куртки, изредка кожаный бомбер. Лица их разбурял ветер с реки. Они шли кучками, смеялись, курили, и их русская речь перекатывалась, как вода, близко, но чужая. Девушка в бордовом пальто стряхнула пепел с сигареты, что-то сказала подруге, и та согнулась от смеха. Звук был резкий, совсем чужой, язык шуток, к которому у меня еще не было ключа.

Я поправила хиджаб, темно-синий, почти в цвет глаз, и шагнула внутрь.

Коридоры пахли хлоркой, старым деревом и чем-то металлическим. Имя этому я позже выучила: формалин. Полы, заполированные тысячью ног, тускло блестели под лампами дневного света. Стены выкрашены в больничную зелень. В воздухе стояла какая-то институтская тоска: она липла к коже, оседала в легких.

Лампы гудели, и их свет был такой особенный, какого-то тошнотворно-желтый, с ним даже молодые лица казались уставшими. В руке у меня был листок: аудитория 317, лекция по топографической анатомии. Я поднялась по лестнице, мраморной, вытертой по центру чьими-то ногами. Сотни тысяч ног прошли здесь до меня, и все они знали, куда идут. Я не знала.

Аудитория 317 встретила меня тишиной.

Двадцать три головы повернулись. Двадцать три пары глаз: синие, серые, зеленые, почти черные. Они смотрели так, будто я вошла в осиное гнездо. Парень за первой партой толкнул локтем соседа и шепнул что-то, от чего оба захихикали. Сосед был рыжий, в веснушках, и провожал меня взглядом, пока я шла к свободной парте в третьем ряду. Белокурая девушка с точеными скулами разглядывала меня в открытую, приоткрыв рот, как зверек, который учился ходить на двух ногах.

«Просто найди место. Просто сядь и побудь обычной, соблюдай спокойствие. Ты знала, что они будут пялиться, но ты здесь ради учебы, можно потерпеть».

Я села, сняла пальто, поставила сумку на пол, ни на кого не посмотрела, словно испуганная мышка, ворующая сыр. Но это не так: я ни у кого ничего не ворую, разве что... Нет, оборвала я саму себя. Сегодня я не буду об этом думать. Достала тетрадь, лучшую, в кожаном переплете, подарок моей мамы, и положила рядом ручку. Кожа на уголках стерлась за долгую

дорогу через два континента. Соседка слева пахла ванилью и табачным дымом. Я отодвинула свой стул на два сантиметра от нее. Ножки скрипнули по полу. Звук прокатился по аудитории, как брошенный камень.

«Ладно. Я приехала сюда не за подругами».

Лектор вошел, когда прозвенел звонок. Сухонький мужчина за пятьдесят, очки на носу, который явно ломали не один раз. Халат мятый, на манжете кофейное пятно. Профессор Григорьев. Он начал говорить быстро, по-русски, строчкой из пулемета: я понимала каждое четвертое слово. Потом остановился, посмотрел на меня и перешел на английский с сильным акцентом.

— У нас в этом году иностранная студентка. Мисс...?

— Жасмин Аль-Танни.

По рядам прокатился шепот. Имя перелетало из уст в уста, как монета: Аль-Танни. Из правящего семейства Катара. Девушка с запахом ванили и дыма обернулась. Я видела, как новость ложится на каждое лицо: расширенные глаза, пересчет. Я больше не просто девушка в хиджабе. Я богатая девушка в хиджабе.

— Из Катара, — добавила я ровно. — Говорю по-английски и по-арабски. Русский... осваиваю.

Кто-то хмыкнул: рыжий с первой парты. Григорьев погасил смешки взглядом, которым можно остановить даже трактор.

— Русский, мисс Аль-Танни, должен осваиваться быстрее. Это не школа русского языка, это университет.

— Я осилю программу, профессор. На вступительном экзамене по русскому языку я набрала девяносто семь процентов.

В аудитории наступила такая тишина, что было слышно, как гудят лампы. Григорьев посмотрел на меня поверх очков и кивнул. В его ломаном лице промелькнуло что-то похожее на уважение.

— Начнем.

Я писала конспект своим шифром: английский и арабский вперемешку, быстро, уверенно. Кости верхней конечности. Ключица. Лопатка. Плечевая кость. Я выучила их еще в Дохе, в долгие месяцы подготовки, но записывала снова: письмо делало знания настоящими. Соседка поглядывала в мою тетрадь, любопытство в ней боролось со страхом.

Два часа пролетели. Рука устала, шея затекла, но я подняла голову, когда Григорьев отпустил группу, и в этот момент увидела его.

Он сидел один в последнем ряду, через три места от ближайшего соседа, будто отгородился невидимой стеной. Высокий, светловолосый, со скулами, вырезанными как из стекла. Черная кожаная куртка, потертая на локтях. Джинсы, выношенные жизнью, а не модой. Ботинки, повидавшие не одну московскую зиму. И манжеты рубашки, обтрепанные до нитки. Эта мелочь, небрежность человека, которому плевать на небрежность, застряла у меня в груди.

Он смотрел на меня.

Не так, как остальные: не с любопытством, не с презрением, не с пересчетом. В его серых, цвета зимних облаков, глазах было что-то другое. Чему я не умела дать имя. Как будто меня просвечивают рентгеном. Как будто он читает кости под моей кожей.

«Он меня оценивает».

Я выдержала его взгляд. Три секунды, пять, я мысленно вела счет. Воздух между нами натянулся, стал плотным, почти осязаемым. Аудитория будто опустела, звуки отодвинулись, превратились в белый шум.

Он первый отвел глаза.

Но я успела заметить, как что-то в нем треснуло: на лице едва заметно дернулся уголок губ, будто он надкусил что-то кислое.

«Хорошо», подумала я и стала убирать вещи в сумку руками, которые почему-то дрожали.

Аудитория опустела не сразу. Кто-то задержался у доски, переписывал схему, кто-то складывал вещи медленно, с ленцой, будто день уже кончился, хотя он только начинался. Я сидела, не вставая, и смотрела на пустой стул в последнем ряду. Через три места от соседа. Будто отгородился невидимой стеной — так он и сидел, я запомнила точно.

Потом я встала и пошла туда. Не знаю зачем. Ноги сами понесли меня между партами, мимо чужих тетрадей, мимо пятна мела на полу. Стул был обычный, деревянный, с облупленной спинкой; на столешнице не осталось ни одной бумажки, ни одного следа. Только в углу синела полоска — чернила, въевшиеся в дерево. Он пишет сильно, подумала я. Пишет так, что остается след.

Я села на его место. Отсюда аудитория выглядела иначе: ближе к окну, свет косой, желтый, свой; парта, за которой я сидела утром, казалась маленькой и далекой, как чужая страна на карте. Интересно, что он видел отсюда, когда смотрел на меня. С этой высоты, из этого света — не так ли смотрят на насекомое под стеклом, прежде чем решить, что с ним делать.

— Скальпель, — сказала я тихо.

Слово прокатилось под потолком и утонуло в гудении ламп.

— Я буду держать в руках скальпель, и не только... я стану хирургом.

Учить русский было как учить анатомию: сначала названия, потом порядок, потом смысл. Я знала по себе: если повторять слово достаточно долго, оно перестает быть чужим и становится твоим, въедается, как те чернила в дерево.

Есь перерыв я просидела на его стуле, словно примеряя чужую кожу. Я смотрела на доску, на свет, на чайку, которая села на карниз и косила на меня белым глазом, и внутри, под ребрами, что-то укладывалось в ровный ряд: не злость, не обида, а холодная, почти вежливая решимость. Ты решил, что я купленная, — пусть. Я решу, что я стану хирургом. Посмотрим, чья правда переживет нас обоих.

За дверью кашлянула уборщица с ведром. Она вошла, не глядя на меня, принялась двигать стулья, и я встала, взяла сумку и пошла к выходу. У самой двери я обернулась. Пустая парта, желтый свет, въевшиеся чернила. Я оставила там что-то, чему не умела дать имя, и забрала взамен что-то другое: ровное, твердое, как кость, которую держишь в руке и знаешь, как она называется.

Я вышла в коридор, и дверь за мной захлопнулась.

Коридор опустел быстро. Я осталась у окна, делала вид, что смотрю в телефон, и пропускала поток мимо. На улице небо было цвета старой жести, к вечеру, наверное, польет. Через стекло я видела учебный двор: студенты кучковались у пепельниц, пар от сигарет смешивался с дыханием. У бордюра стояла белая машина, похожая на скорую помощь.

За эту неделю я выучила правило: кто выходит из аудитории первым, тот первый встает в толчею, где невозможно не задеть соседа. Лучше ждать. Лучше в толпе не растворяться.

Мимо прошли три девушки, прижавшись друг к другу, они говорили по-русски так быстро, что я тонула в их речи. Одна рассмеялась резко и звонко, и у меня сжался желудок. «Они не над тобой, успокаивала я себя. Это не про тебя».

Но я девятнадцать лет училась читать комнату, анализировать атмосферу, изучать людей. И эта комната была холодной.

Я завернула за угол к лестничной клетке и остановилась. Знакомый голос. Тот белокурый с последнего ряда. Он стоял у двери спиной ко мне и говорил с темноволосым парнем, у которого за ухом была сигарета. В руке у блондина был картонный стакан, от него поднимался пар. Черный кофе, наверняка, без сахара, рассудила я. Говорил он негромко, но каждое слово доносилось до меня, наверное, потому что у меня был чуткий слух... так, издержки воспитания.

— ...которая замужем?

Темноволосый пожал плечами:

— Аль-Танни. Она самая. Поговаривают, муж ее миллиардер из Катара. Говорят, ей место здесь купили.

— И ты в это веришь? Так уж прям миллиардер, — хмыкнул друг Адриана.

— А что тут думать? Они там все такие, знаешь же, браки по расчету, любовью и не пахнет. А жены — аксессуар.

Я замерла. Ноги будто приросли к полу. Нужно было выйти из-за угла, показаться, сказать, что я здесь, что нельзя вот так раскладывать чужую жизнь по полочкам, как новость в ленте.

Но я не двинулась.

Голос блондина упал, стал ниже.

— Скальпель она в руки не возьмет. Это я тебе точно говорю.

Эти слова ударили, как пощечина. В горле пересохло, воздух вокруг будто кончился.

— Просто украшение богатого человека. Красивая, чтобы показывать на публику, купленная, чтобы молчать. У нее сейчас просто пауза, год перед настоящей жизнью. А потом она вернется в свою позолоченную клетку в Дохе и будет рожать миллиардеру наследников.

— Ну ты жестко, Кузнецов. Скажи еще это ей в лицо, и ее шейх тебя покарает.

Адриан пожал плечами.

— Я лишь сказал очевидное, все нашем классе это знают, просто бояться озвучить. — Он поморщился и у меня кольнуло сердце. — Не люблю проплаченных.

Блондин толкнул дверь лестничной клетки, и холодная струя воздуха ударила мне в лицо. Я стояла не в силах пошевелиться, пока их шаги грохотали по ступеням и затихали. Но слова еще висели в воздухе: «украшение», «купленная», «клетка в Дохе».

Слово крутилось в голове, пока я не поняла его по-настоящему: аксессуар. Вещь, которую надевают, чтобы завершить образ. Вещь, которую можно снять, заменить, забыть.

«Просто очередное украшение богача».

Я и раньше слышала такое. В Дохе, шепотом, прямо за моей спиной: мамыны приятельницы жалели меня вполголоса, мол, Амир женился не на мне, а на моей коже, на происхождении, он любит красивые вещи, а я как раз являюсь одной из них. Партнеры отца переглядывались, когда я заикалась про медицину: ясно, девочка едет не за дипломом, скорее...головой. Но осуждать вслух ни смели — боялись Амира. Амира все боялись, даже я.

Но вот так, неприкрыто мне этого никто не говорил, даже близкие. А какой-то парень, который видел меня три часа и одну лекцию, уже решил, где мое место.

Звонок на следующую пару прозвучал, когда коридор уже наполнился голосами. Я не сдвинулась с места. Стояла в конце коридора, прижимаясь спиной к холодной стене, и давала словам осесть внутри, как камням. «Аксессуар». Слово лежало в груди, тяжелое и круглое, как большой кусок бутерброда, который глотают случайно, и он проходит по пищеводу вниз с такою болью, что хочется его немедленно выплюнуть, но уже поздно..

Было тихо, только батарея под подоконником лязгнула и зашипела. За окном на карнизе сидела чайка и косила на меня белым глазом. Я тронула кулон на шее, маленький серебряный полумесяц, мамин подарок, оттолкнулась от стены и пошла на следующую пару.

Аудитория на следующей паре была меньше, и лампы здесь гудели иначе — тоньше, устнее. Свободное место нашлось ровно одно, и я села, не поднимая глаз, когда врач вошел и начал вызывать группу по списку.

— Аль-Танни Жасмин, — произнес он, споткнувшись о мое имя, как о порог.

Я встала. Сорок глаз поднялись на меня. Врач посмотрел в журнал, потом на меня, потом снова в журнал, и я сразу поняла, что он тоже не знает, что со мной делать: спрашивать по-русски или по-английски, ждать, пока я свалюсь, или верить списку. В конце концов он выдохнул на русском:

— Кости, — сказал он. — Локтевой сустав. Какие кости его образуют?

— Плечевая, локтевая, лучевая, — сказала я, медленно, но без запинки. Я в его глазах мгновенно отразилось удивление и... одобрение? — Плечевая дистально, локтевая и лучевая проксимально.

В аудитории стало тихо, как в пустой церкви. Врач кивнул и, помолчав, поставил что-то в журнал. Я села, довольно уверенно, хотя пальцы под столом дрожали, а сердце стучало так, будто я пробежала марафон, но внутри было светло и горячо, как после первой удачной инъекции на тренировке в Дохе.

Соседка, Катя — та же, с запахом ванили и табака — толкнула меня под локоть и пододвинула тетрадь. На полях было написано крупно, с нажимом: «Держи. Ты огонь. Скажи, если что надо».

Я посмотрела на нее. Она улыбнулась одними уголками губ и вернулась к конспекту, будто ничего не случилось. Я перечитала записку три раза, прежде чем сложить ее пополам и убрать в карман пальто — туда, где лежал кулон, мамин подарок, маленький серебряный полумесяц. Два теплых предмета в одном холодном кармане. Я держала ладонь на них всю пару и улыбалась.

После пары она не стала со мной заговаривать, только махнула рукой на прощание — легко, без обязательств, как машут своим. Я помахала в ответ, и от этого простого движения почему-то защемило в носу. В Дохе подруги у меня были другие: воспитанные, осторожные, они знали, как называется моя семья, еще до того, как узнавали меня. А эта девушка с ванилью и дымом знала одно мое имя и уже захотела со мной дружить.

Я вышла в коридор, и слова ее записки грели мой карман весь оставшийся день, он прошел, как под водой: пары, коридоры, новые лица и постоянное жжение между лопатками, знание, что на меня смотрят и смотрят. Я не разговаривала ни с кем, записывала, кивала, молчала и дожидалась вечера. К исходу дня гудели ноги и пылала голова. Я вышла в холод, и толпа понесла меня вниз, к метро, ступень за ступенью, под землю.

Станция оказалась памятником прошлой эпохи: мраморные колонны, тяжелые люстры, мозаики с героическими рабочими и спортсменами. Поезда накатывали из темных жерл и уезжали, как звери. Я стояла в набитом вагоне, уцепившись за поручень, и смотрела, как за окном вспыхивают туннельные огни. Наконец на одной из остановок в меня ввалился пьяный мужчина, толкнул локтем, буркнул, не глядя, «извините» и канул к выходу. Я вжалась в угол. Женщина напротив долго разглядывала мой хиджаб, а когда я подняла глаза, отвела взгляд.

Пересаживалась я дважды и старательно запоминала дорогу. Эскалатор нес меня вверх почти три минуты, и своды над головой проплывали свод за сводом, как во дворце. Наверху сырой воздух хлестнул по лицу, я застегнула пальто под горло и вышла к улице.

У края тротуара стоял черный внедорожник. Дмитрий, водитель Амира, ждал у задней двери: широкоплечий, бесстрастный, молчаливый, как всегда. Он открыл дверь без единого слова. Кожаное сиденье мягко приняло меня. Дмитрий сел за руль и посмотрел в зеркало заднего вида.

— Как прошел первый день, мадам?

«Мадам». Я до сих пор не привыкла. В Дохе я была бинт Аль-Тохим, то есть дочь: в моем имени жило имя отца. Теперь мадам, то есть жена: в моем имени жило имя мужа, когда же меня перестанут определять мужчины вокруг? Я облизнула губы.

— Хорошо, — сказала я. — Поехали домой, пожалуйста.

Ленинградский проспект стоял в пробке. Ряд хвостов тянулся до горизонта, красные огни стоп-сигналов переливались, как река рубинов. Я смотрела, как город плывет мимо: сталинские высотки с лепниной и статуями, как свадебные торты, стеклянные башни Москва-Сити, протыкающие серое небо иглами. На углу женщина продавала хризантемы из пластиковых ведер, мимо прошла бабушка в выцветшем пальто с тележкой картошки. Москва, город кон-

трастов. Миллиардеры и бабушки на одной ветке метро, дорогие бутики рядом с облупленными пятиэтажками. А в середине всего этого я: смуглая девушка из Персидского залива, жена человека, которого знаю полгода, студентка медицины на чужом языке.

— Дмитрий, — выпалила я. — Остановите, пожалуйста.

Он не удивился, не задал вопросов, вообще никак не отреагировал — просто включил поворотник, прижался к обочине у светофора и поставил машину на ручник. То была его работа — исполнять приказы, как теперь и моя... стоп. Ты не будешь сегодня об этом думать.

Я вышла, и сырой воздух ударил в лицо, пахнувший бензином, мокрым асфальтом и хризантемами.

Женщина у ведер подняла на меня глаза. Она была немолодая, в пуховом платке поверх пальто, в варежках с дыркой на большом пальце. Цветы стояли в трех синих ведрах: желтые, бордовые, белые, как снег.

— Сколько стоит? — спросила я, и слова вышли ломкие, как лед.

— Белые по триста, — сказала она. — Желтые по двести.

— Дайте белых, пожалуйста...десять, штук? — вопросительных тон в моем голосе ее нисколько не смутил, а я все не могла понять, правильно ли справляюсь с числами. В русском языке было столько нюансов, иногда я тонула в них.

Она принялась собирать букет, а я смотрела, как ее руки, задубевшие, в трещинах, перебирают стебли, отбраковывают увядшие. Руки, знающие свое дело. Я задумалась: сколько лет она стоит здесь, на этом углу, сколько хризантем прошло через эти пальцы — на свадьбы, на похороны, в чужие гостиные? А я ни разу в жизни не покупала цветов, их всегда покупали мне и за меня.

Женщина протянула букет, перевязанный бечевкой, и добавила одиннадцатый цветок — боком, в самый край, не спрашивая.

— Бери, — сказала она. — Такая красивая! И чего ты такая грустная?

Я улыбнулась, заплатила, забрала букет и вернулась в машину. Это я умела еще с детства — молчать и улыбаться, когда не знаешь, что сказать. «Когда молчишь — ты красивая и загадочная, а скажешь не то — и репутация испорчена безвозвратно.» Я вспомнила слова отца. В салоне запахло осенью: стеблями, прохладой, чужим садом. Дмитрий посмотрел в зеркало заднего вида — мельком, без выражения — и мы поехали дальше, вливаясь в красную реку хвостов.

Я держала букет на коленях, белые хризантемы, плотные, холодные, капля воды скатилась с лепестка мне на ладонь. «И чего ты такая грустная?». Женщина с дыркой на варежке увидела меня лучше, чем все, кто смотрел мне в лицо весь этот день. Она не знала моего имени, не знала, чья я жена, — и все равно отдала мне цветок даром, как человеку.

В лифте, поднимаясь на пятьдесят четвертый этаж, я держала букет перед собой, как трофей. Белые хризантемы отражались в зеркальных стенах лифта — десять отражений меня с цветами, десять девушек в хиджабе, и все они улыбались. Никогда еще простой букет так не радовал меня и не заставлял почувствовать себя настолько живой.

Мой дом теперь был в Москва-Сити, пятьдесят четвертый этаж. Лифт поднялся за десять секунд, объявляя каждый этаж мягкими трелями. Идея Амира. Он говорил: «Только лучшее, малышка». Гостиная с окнами от пола до потолка, город внизу распластался, как звездная карта, свет фар стекал по улицам, как кровь по венам.

Я подошла к окну, прижалась лбом к холодному стеклу и закрыла глаза.

Телефон зазвонил, когда я уже разулась и стояла босая на теплом полу, глядя, как город внизу зажигает свои огни. Экран вспыхнул: «Мама». Я ответила на втором гудке, и голос ее прозвучал близко, будто она стояла рядом, в этой же комнате, а не за тысячи километров, в доме с жалюзи и кондиционерами.

— Хабибти, как первый день? — спросила она по-арабски, и от этого слова — «любимая», — которое мама говорила мне всю жизнь, что-то в груди дрогнуло.

— Хорошо, мама. Очень хорошо.

— Ты говоришь «хорошо» голосом, которым обычно говорят «не спрашивай, мам, у меня и так все плохо».

Я улыбнулась. Мама всегда так делала: слышала не слова, а интонацию в них.

— Было трудно. Но я справлюсь.

— Трудный первый день — хороший знак. — В трубке что-то звякнуло, она переставляла посуду; я знала этот звук наизусть, с детства, с кухни с голубыми шкафами. — Ешь хорошо. Пей много воды. Москва холодная, а у тебя легкие пустыни.

— Мама, я в медицинском университете. Я знаю, что надо пить воду.

— Значит, напомню лишний раз. — Она помолчала, и я услышала, как Нура аль-Тахим колеблется, прежде чем спросить: — Как там Амир?

— Звонил. Спрашивал про день.

— Он хороший муж, Жасмин. — Слова падали ровно, как гири. А облегчение в мамин голосе было заметно невооруженным глазом. И почему все думали обо мне непременно в раздел моего брака с Амиром. Неужели было так важно, как у нас с ним, больше, чем, как я сама с собой? — Я знаю, он не всегда умеет сказать правильно, но он любит... заботится.

Я посмотрела на белые хризантемы, стоящие в вазе на столе, воду они уже успели помутнеть от стеблей. Заботится — как заботятся о вещи, которую хотят сохранить, но я не сказала этого маме.

— Да, мама, очень заботится.

— Учись хорошо. Мы так гордимся.

— Я знаю. Я позвоню завтра.

— Звони обязательно. Спи, любимая.

Она положила трубку, как всегда, первой. Я держала телефон в руке, слушая тишину, и смотрела на цветы. Потом подошла к вазе и поправила один стебель, самый кривой. Завтра будет второй день. Послезавтра третий. А сегодня у меня есть хризантемы, купленные мной, для меня, за мои деньги, и никто не выбирал их за меня, и никто не скажет, куда их ставить.

Адриан Кузнецов. Я узнала его имя из списка, вывешенного у деканата. Адриан Кузнецов, третий курс, родился в Электростали, перевелся из регионального медицинского университета. Никаких семейных связей в списке не значилось. Ни имен родителей.

«Работает по ночам, говорили про него. Видели его в магазинчике у общежития. Мойт полы».

Новость легла в груди, как пазл, который я не хотела собирать.

Его глаза. Серость. Он смотрел на меня, как на задачу, которую пытался решить. Потерянные манжеты. Небрежность, с которой он вычеркнул меня из моего потенциального будущего.

«Очередное украшение богача».

Я прижала ладонь к стеклу, и мое дыхание затуманило его. По небу шел вертолет, как механический светлячок, красно-белые огни.

— Я стану хирургом, — сказала я пустой комнате. Московским огням. Призраку его голоса в голове. — Я обязательно стану хирургом.

Комната промолчала. Только город за стеклом дышал огнями, и башни покачивались едва заметно, как маятники. Я убрала ладонь с окна и согрела ее второй рукой. На стекле остался ровный кружок от моего дыхания, медленно остыл, растворился.

Слова его возвращались сами: «скальпель она в руки не возьмет». Теперь они уже не жгли. Легли, как справка, как цифра, которую надо разбить. Я закрыла глаза и постояла так, пока внутри не сделалось тихо.

Потом открыла глаза и посмотрела на город. Огни, огни, огни. За каждым окном чья-то жизнь, чей-то сон, чья-то ночь. Где-то там, внизу, живет человек, который видел меня три часа и уже все решил. Где-то там водитель Дмитрий ждет сигнала, чтобы отвезти меня завтра утром, к крыльцу Первого Медицинского. Где-то там профессор Григорьев, в чьем ломаном лице, кажется, все-таки промелькнуло уважение.

Завтра будет второй день. Послезавтра третий. Потом снова, и снова, пока эти шесть лет не станут моими самыми важными годами в жизни. ГОдами моего становления, обучения и исполнения мечты. Я выучу их язык так, что буду слышать не просто звук, а слово. Я стану их ровней, потом их коллегой, а потом, может быть, их учителем. Мое место в университете действительно было проплачено...но свое место в жизни мне еще предстояло найти занять.

Я выключила свет в гостиной, и за панорамными окнами осталась одна ночь: вся в огнях, как карта созвездий, которых не учат в школе. Я переоделась в пижаму, легла на кровать и закрыла глаза. В ушах еще стоял его голос, не злой, а чужой, жалующий, как приговор. Он тогда просто шел вниз по лестнице и вел обычный диалог со своим другом, а я стояла у того угла с его словами в груди.

И по какой-то причине, Адриан Кузнецов, с того самого дня больше не выходил у меня из головы.

Глава 2. Лед и анатомия

АДРИАН

Через месяц нас поставили работать вместе.

Анатомичка пахла страхом.

Я был в этой комнате не меньше пятидесяти раз с начала третьего курса, и каждый раз меня встречал один и тот же запах: коктейль из формалина и фенола, а под ним что-то еще, органическое, что никогда до конца не перебивалось. У смерти есть запах, я это давно выучил. Ничего в нем драматичного. Просто отсутствие. Нехватка того, что было теплым. Тело, лежащее на столе перед нами, когда-то было чьим-то отцом. Чьим-то мужем. Чьей-то нелепой шуткой и чьим-то «доброе утро», и той особой формой тишины, которую он оставил после себя.

Само помещение было кубом, похожим на морг: белый кафель и нержавейка. Пол чуть склонялся к центральному сливу, и эту деталь замечает каждый первокурсник и старается не думать о ней. Рядами стояли стальные столы, на каждом под простыней лежало тело. Сверху гудели лампы, ровным и беспощадным светом операционной. Часы на стене отсчитывали каждую секунду, громко в предрабочей тишине.

Сегодня меня прикрепили к столу номер четыре.

А на столе номер четыре была Жасмин Аль-Танни.

Я знал это еще до того, как увидел список на двери лаборатории. У вселенной чувство юмора, и я давно усвоил, что шутки ее почти всегда достаются мне. Поэтому, когда профессор Кузьмин зачитывал пары на сегодняшнее вскрытие, верхнюю конечность, продолжение лекции прошлой недели, и произнес «Кузнецов и Аль-Танни», я не вздрогнул.

Просто кивнул и подошел к столу.

Она уже стояла там, по ту сторону стального стола, сцепив руки перед собой, как на похоронах. Сегодня ее хиджаб был темно-зеленый, цвета сосновых игл, и глаза от этого казались почти черными. Белый халат свободно лежал на плечах. Она подняла глаза, когда я подошел, и удивления в них не было, только узнавание, будто она и сама ждала этого.

«Кузнецов».

«Аль-Танни».

Вот и все. Я натянул перчатки, латекс туго щелкнул по запястьям. Она проделала то же самое. Я отметил точность ее движений: ни заминки, ни суетливости. Перчатки сели как влитые, она один раз, по-деловому, поправила края и положила руки на край стола. Сам жест уже был...каким-то...хирургическим.

Тело на столе принадлежало мужчине лет шестидесяти, завещавшему себя науке, с кожей цвета старого пергамента. Игрекообразный разрез уже был сделан, на прошлой неделе вскрывали грудную клетку и брюшную, и теперь правая рука лежала неприкрытая: мышцы, сухожилия, фасции виднелись под отвернутой кожей. Подкожный жир отсвечивал восковой белизной консерванта. Я повидал достаточно тел, чтобы знать: у каждого своя палитра, желтая, бурая, серая, каких не найдешь ни в одном атласе.

Я взял скальпель.

«Я начну с дельтовидной. Ты бери двуглавую».

«Это неэффективно».

Я поднял глаза.

«Извини?»

«Я возьму проксимальный конец дельтовидной, вы дистальный. Встретимся посередине. Потом я сделаю двуглавую, а ты пока заканчивай трехглавую. Параллельная работа».

Я уставился на нее. Она посмотрела мне в глаза. Спокойное собранное лицо, темные глаза держат мой взгляд, ни разу не моргнув. Она не бросала мне вызов. Она констатировала факт.

«Ты ведь это уже делала» - прищурился я.

«Секционный зал в Дохе. Летний интенсив. Верхнюю конечность я препарировала дважды».

Я аж присвистнул.

«Тогда ты чувствуешь себя тут как дома».

«Именно».

Я перевел взгляд на тело, потом обратно на нее. Я ждал, что она окажется бесполезной. Ждал нерешительности, брезгливости, той аккуратной отстраненности, с какой девушка, не выдавшая смерти вблизи, отстраняется от тела. Я готовился тащить на себе мертвый груз.

А получил напарницу, которая работала быстрее меня.

Ее разрезы были чистыми и точными, с уверенностью человека, повторявшего такое много раз. Ни одного лишнего движения, ни минуты колебания перед надрезом, ни вздрагивания, когда скальпель встречал сопротивление и приходилось надавить глубже. Руки не дрожали. Сосредоточенность была полной. Лезвие двигалось продолжением ее ладони, отделяя фасцию от мышцы с той бережностью, какая бывает у человека, понимающего, что каждый лишний разрез это травма.

И я поймал себя на том, что смотрю на нее.

Не так, как в первый день. Тогда я оценивал ее, разбирал по косточкам, укладывал в ячейку «богатая, чужая». Сейчас было иначе. Я смотрел на изгиб ее шеи, когда она склонялась над телом, на то, как двигаются под халатом плечи, на сосредоточенность, смягчающую ее рот и заставляющую закусить нижнюю губу. На виске выступила капля пота, и она не смахнула ее, так и работала с этой каплей.

Я отвел глаза. Вот же...блин, слишком резко.

«Здесь фасция толще», сказала она, не поднимая головы. «Возможно, хроническое воспаление. У него могла быть травма вращательной манжеты. Давняя».

«Может быть».

«Не может быть, а я права».

Она сказала это без высокомерия, как просто факт. В груди у меня что-то сдвинулось, и мне это не понравилось. Мне уже многое не нравилось в этой девчонке. Я перепоступал дважды, поэтому все ут были младше меня на 5 лет. И все же, некоторые уже были замужем... я оборвал свою мысль. Сейчас не время.

Профессор Кузьмин появился у нашего стола беззвучно, как всегда. Я заметил его краем глаза — высокий, сутулый, в халате, который висит на нем, как на вешалке, — и продолжил препарировать, делая вид, что не замечаю. Он так делал: подходил молча, смотрел, и если ты дергался — уже проиграл.

Он долго разглядывал нашу работу. Руку мы к тому времени разобрали почти до кости: дельтовидная лежала отдельно, двуглавая была прослежена до сухожилия, лучевой нерв сиял под светом ламп, как натянутая струна. Я ждал замечаний. Он молчал.

— Кто делал это? — спросил он наконец, указывая на лучевой нерв.

— Я, — выпалил я.

— А это? — Он показал на плечевое сплетение, разложенное с той особой аккуратностью, которую я уже узнавал вслепую: ни одного лишнего надреза, все ветви разведены, как пальцы раскрытой ладони.

— Жасмин, — сказал я. Имя вышло само, без титула, без фамилии, и вырвалось у меня прежде, чем я успел прикусить язык.

Кузьмин перевел взгляд на нее. Она стояла по ту сторону стола, руки сложены перед собой, смотрела спокойно, без тени робости. Прядь волос снова выбилась из-под хиджаба и вилась у виска — я заметил это раньше, чем успел себя остановить.

— Откуда это? — спросил он ее по-русски, быстро, будто проверяя.

— Доха, — сказала она. — Летний интенсив. Я чувствовала в обоих сезонах. Помни, как Амир тогда удивлялся моему желанию оборвать медовый месяц, чтобы поехать учиться.

— И теперь ты будешь учить нас?

Она не улыбнулась моей шутке, но в глазах у нее что-то мелькнуло — там, в глубине, может, я задел ее, а может... нет, было что-то еще.

Кузьмин хмыкнул, потрогал край ее разреза кончиком пальца и отошел, не сказав больше ничего. Это у него была высшая оценка: молчание.

Я вернулся к работе и вдруг поймал себя на том, что говорю, не поднимая головы:

— Хорошая работа. У тебя получается совсем не как у первокурсницы.

— Знаю, — сказала она. — Спасибо.

Я поднял глаза. Она смотрела на меня в упор, и на секунду мне показалось, что между нами — не стол и не тело, а что-то другое, тонкое, как та фасция, которую мы только что сняли: невидимое, но держит все вместе. Потом она опустила взгляд и взяла инструмент, и я снова остался со своим скальпелем и своим пульсом, который стучал громче, чем было положено в секционном зале.

Я все смотрел, как она работает, и не мог заставить себя отвернуться.

Утренняя сессия растянулась на три часа. К концу наш стол превратился в карту обнаженной анатомии человеческого тела: плечевое сплетение было разложено напоказ, лучевой нерв прослежен от подмышки до предплечья, плечевая кость зачищена. Жасмин отступила на шаг и потянулась, разминая шею, поведя плечами. Суставы громко хрустнули.

«Хорошая сессия», сказала она.

Я стянул перчатки и бросил их в бак для биологических отходов. Она сделала то же самое. Наши руки оказались в паре сантиметров друг от друга над баком, и я почувствовал тепло ее кожи раньше, чем увидел: тепло, которое расходилось даже в холоде секционного зала. От нее едва уловимо пахло цветами, жасмином, если быть точнее.

Я отдернул руку.

«Записи составлю я», сказал я. «Сможешь проверить».

«Предпочту написать их сама. Ты часто упускаешь детали».

У меня сжалась челюсть.

«Что ты имеешь в виду?»

«Ты видишь общую картину. Я вижу частности. Для отчета по лабораторной мои записи будут точнее».

Она была права. Я знал, что она права. Только от этого было не легче. Я был лучшим во всех группах со времен Электростали, и вот эта девушка, эта жена, говорит мне, что я упускаю детали.

«Хорошо», сказал я. «Пиши. Отправишь до полуночи».

«Отправлю».

Я развернулся, и ботинки тяжело застучали по плитке. Я сделал три шага, и ее голос остановил меня.

«Кузнецов».

Я оглянулся. Она все еще стояла у стола, скрестив руки, чуть склонив голову. Из-под хиджаба выбилась прядь темных волос, завилась у виска. В белом свете лаборатории ее кожа казалась теплой, живой, на фоне серой неподвижности тела рядом.

«Ты говорили обо мне. В первый день, на лестнице. Я повернулся к ней».

«Ты это слышала?».

«Слышала».

Тишина. Удар сердца. Второй. Между нами гудел свет ламп.

«Я был неправ» - выдохнул я.

Слова вырвались, прежде чем я успел их остановить. Я не собирался их говорить. Я собирался стоять на своем, защищаться, швырнуть ей в лицо ее привилегию и уйти. Но она смотрела на меня такими глазами: темными, спокойными - ничего не ожидая, и слова выпали сами.

«Насчет скальпеля. Ты умеешь держать его в руках».

Она не улыбнулась. Не просияла. Только чуть наклонила голову, принимая уступку, и во взгляде у нее что-то мелькнуло. Что-то, чему я не мог подобрать имени. Это было как смотреть, как человек приоткрывает дверь ровно настолько, чтобы увидеть свет с той стороны.

«Приятно слышать», сказала она.

Она вернулась к столу и принялась чистить инструменты, осторожными привычными движениями. Я был отвергнут. Я постоял мгновение, глядя, как работают ее руки: с какой точностью она протирает каждое лезвие, как пальцы безошибочно знают, где лежит каждый инструмент. Обручальное кольцо поймало свет: золотая вспышка в белой комнате. Впервые я по-настоящему его разглядел.

Вот же...

Я вышел из лаборатории и не оглянулся.

Коридор был пуст. Я остановился у питьевого фонтанчика, наклонился и пускал холодную воду по губам, не глотая. Чаша была сколота, в ржавых подтеках. Я простоял так долгую минуту, упершись руками в фарфор, мое отражение колыхалось в мокрой поверхности. Кольцо все еще горело в памяти, золотой линией поперек зрения.

Соберись, Кузнецов. Она сокурсница. Больше ничего.

Я выпрямился, вытер рот тыльной стороной ладони и пошел на следующую лекцию.

Вечером я был в магазинчике у общежития, как обычно по вторникам. Хозяйка, тетя Галя, держала его с девяностых: три полки консервов, витрина с кефиром, за прилавком — кнопочный телефон и икона в углу, перед которой она крестилась, когда кто-то входил. Я работал здесь за еду и угол: разгружал коробки, мыл полы, пересчитывал сдачу.

Полы я мыл хорошо. Еще в Электростали, когда отец болел и мать пропадала в больнице, вся уборка была моя, и я вывел это в систему: сначала шваброй, потом тряпкой, по углам — пальцами, чтобы не осталось ни одной катышки пыли. Руки знали работу лучше головы. Голова в такие минуты была свободна — и, как назло, заполнялась ею.

Я тер один и тот же квадрат плитки, пока тетя Галя не окликнула меня:

— Адрик, ты этот пол уже третий раз трешь. Скажи, что случилось, а?

— Ничего, — сказал я. — Задумался.

— Задумался он. — Она сняла очки и посмотрела на меня, как смотрела на своих котов, когда те приносили в дом что-то странное. — Девушка?

— Нет.

— Тогда башка болит. Студент без девушки и без головной боли не бывает.

Я промолчал, и она ушла пересчитывать кассу, оставив меня с ведром, со шваброй и с кольцом, которое горело в памяти золотой линией поперек зрения, сколько я ни тер этот пол.

В одиннадцать я закрыл магазин, запер дверь, забрал свой кефир и хлеб, которые тетя Галя откладывала мне с вечера, и пошел через двор к общежитию. Ночь была холодная, сентябрьская, пахло мокрыми листьями и дальним дымом. Я шел и перебирал в голове, как анаптомию, свои резоны: она замужем. Она чья-то жена. У нее жизнь на пятьдесят четыре этажа выше моей, и если я хоть на секунду позволю себе смотреть на нее иначе, чем на сокурсницу, — я стану тем, кого презираю: человеком, который берет чужое, потому что свое не заработал.

«Глаза — это одно, — сказал я себе, останавливаясь у двери общежития. — А руки — другое. Руки я держу при себе».

Во дворе было пусто, только фонарь гудел и кидал желтый свет на мокрый асфальт, и я постоял под ним минуту, глядя на свою тень, длинную, чужую, потом поднялся к себе, в теплую вонь коридора, где пахло борщом и чужими жизнями.

В ту ночь я лежал на кровати в общей комнате общежития и смотрел в потолок. Комната была маленькая: две кровати, два стола, окно, упирившееся в бетонную стену соседнего здания так близко, что до нее почти можно было достать рукой. Стены тонкие, я слышал, как мой сосед Павел кашляет в соседней комнате, слышал приглушенный бас чьей-то музыки через три двери. Радиатор лязгал и шипел, проигрывая бой сентябрьскому холоду.

Я не хотел думать.

Но мысли все возвращались в анатомическую. К ее рукам. К тому, как скальпель был продолжением ее собственной кисти. К пряди волос, завившейся у виска. К тому, как она сказала «слышала», не со злостью, без обиды, просто фиксируя факт и оставляя рану открытой, чтобы я ее увидел.

Я прижал ладони к глазам.

Она замужем. Она жена миллиардера. Она из того мира, где все не так, как у меня: там внедорожники и квартиры на пятьдесят четвертом этаже, там украшения дороже, чем моя семья зарабатывает за десять лет. Мир, в котором не бывает потертых манжет, потому что вещи выкидывают раньше, чем они потрутся.

И все же.

Я видел, как она двигается. Как держится: не принцесса, ждущая своего замка, а солдат, ждущий приказа. Под ее тихой оболочкой пряталось что-то острое, что не совпадало с картинкой, которую я себе построил. Что-то, что смотрело на меня через рассеченную руку и говорило «я права» так, словно это самая естественная вещь на свете.

Просто очередное украшение богача.

Я это говорил. И я это имел в виду, стоя в той лестничной клетке рядом с Сергеем. Я увидел очередную богатую девочку, которая играла в учебу, и поставил ее в один ряд со всеми другими богатыми девочками, которых видал плывущими по жизни, не касаясь грязи.

Но она коснулась грязи. Она коснулась руки мертвеца спокойной рукой и не вздрогнула. И она была хороша. Хороша той хорошостью, которая рождается из желания большего, чем сон, чем комфорт, чем легкая жизнь, которая у нее могла бы быть.

Я повернулся на бок, проминая подушку. Кровать жалобно скрипнула подо мной.

Это не имело значения. Она замужем. Она не для меня. Она была осложнением болезни, которое мне не нужно.

Я лежал в темноте, и комната дышала вокруг меня чужими звуками: Павел за стеной кашлянул, радиатор лязгнул, кто-то в конце коридора долго искал ключи. Я смотрел в потолок и думал о других вещах. О том, как я сюда попал.

Вокзал в Электростали — маленький, желтый, с дощатой платформой, — помню так, будто уезжал вчера. Мать стояла на перроне в своем пальто, в том самом, в котором ходила в больницу, подшитом на локтях, с бейджем, который она забыла снять после смены: «Наталья Петровна, постовой». Она держала меня за рукав и говорила быстро, как всегда, когда волновалась:

— Ты кушай. Не сиди над книжками до утра. Приедешь — напиши.

— Мам, я напишу.

— Не дай им сделать тебя маленьким, Адрик. Ты у меня большой. — Она сжала мне руку так, что хрустнули костяшки, и в глазах у нее стояли слезы, которые она не позволяла себе пролить, потому что на перроне были люди. — Отец бы тобой гордился.

Поезд тронулся, она шла за вагоном, потом побежала, потом остановилась на платформе, маленькая в своем пальто и платке, подняв руку, — и я смотрел на нее, пока станция не слилась

с темнотой, а потом еще долго смотрел в черное окно, потому что не хотел, чтобы она увидела, если я заплачу. Я не заплакал. Целый час держал это в горле, как комок, и не заплакал.

Отец умер, когда я был на первом курсе. Горячий цех, сердце, тридцать лет стажа — врачи сказали, что сердце у него было как у старика, хотя ему не было и пятидесяти пяти. Мать осталась одна в доме, где все пахло им: инструменты в гараже, очки на подоконнике, его чашка с отбитой ручкой, которую она так и не выбросила. «Не выбрасываю, — говорила она. — Рука помнит».

Я поступил в региональный медицинский на бюджет, отучился первый курс, перевелся в Москву, в Первый, — стипендией и вечерними сменами у тети Гали, магазинными полами и ночными дежурствами в приемном, куда брали студентов за спасибо. Я не просил ничего ни у кого, кроме отца, но он не мог дать.

В Москве я понял одну вещь: если хочешь выбраться — ты должен быть лучше всех. Не хорошим. Лучшим. Потому что хороших много, а лучшим здесь никого не жалко, кроме тебя самого.

Потолок в темноте, трещина, тянущаяся к углу, как дорога, по которой я шел все эти годы. Я сжал кулаки под одеялом.

Девушка с темными глазами — это красиво, но больно и глупо. А я приехал сюда не за этим. Я приехал сюда, чтобы стать лучшим, и никто, ни одна золотая вспышка на безымянном пальце не собьет меня с этой дороги. Мать ждет. Отец смотрит. Полы вымыты, кефир в холодильнике, завтра — лекции, и все, что мне нужно, у меня уже есть: две руки, одна голова и ни одного лишнего долга.

Я закрыл глаза — и увидел ее шею. Проклятие.

Но когда я закрывал глаза, я видел ее шею, изгиб, когда она склоняется над телом, пульс, бьющийся на горле, свет ламп, ловивший край ее челюсти. Видел ее пальцы, сжимающие скальпель, твердые, как камень.

Я ненавидел себя за то, что замечаю.

Я перевернулся, снова взбил подушку и усталился в трещину на потолке. Дом успокаивался вокруг меня малыми звуками: стон старых труб, скрип половиц в комнате этажом выше. Где-то спустили воду в туалете. Я думал о маме, оставшейся в Электростали, о том, как она работает в две смены в больнице. Я всем пожертвовал, чтобы выбраться. Не прогадай, говорил я себе, сжав плечи, перед тем как сесть на поезд. Не дай им сделать тебя маленьким. Думал о том, чтобы рассказать ей про девушку с темными глазами и твердой рукой. Думал, что бы она сказала. Наверняка: «Она замужем, Адриан. Найди свою дорогу».

Но трещина на потолке не ответила, и тишина тоже.

Наутро я был в библиотеке до рассвета, разбираясь в конспектах по фармакологии. Кампус молчал, слышно было только гудение кофемашины в углу да редкий скрип старых труб. Свет падал сквозь высокие окна бледно-желтыми прямоугольниками, золотя пылинки, плававшие в воздухе. Я просидел так часа три, когда поднял голову с чашкой в руке и увидел ее.

Она сидела за дальним столом, перед ней раскрытый ноутбук, рядом стопка учебников. Без хиджаба: простой серый свитер, темные волосы распущены по плечам, волнами, ловящими свет так, что сжимало грудь. За ухом у нее ручка, она хмурилась в экран, пальцы застыли над клавиатурой. Без хиджаба она выглядела моложе. Мягче. Я видел форму ее головы, линию челюсти, то, как падают волосы на щеку, когда она склоняет голову. Это было похоже на подглядывание за чем-то личным, что мне видеть не положено.

Ее здесь быть не должно. Замужние женщины с пентхаусами не занимаются в обшарпанной библиотеке кампуса в шесть утра. У них репетиторы. У них домашние кабинеты с лучшим светом. У них жизнь, в которой нет места рядом с сыном заводского рабочего из Электростали.

И все же.

Она подняла глаза, будто почувствовала мой взгляд. Наши взгляды встретились через комнату. Между нами было метров пятнадцать, но казалось, весь город сжался в эти пятнадцать метров: бедность Электростали, богатство Дохи, холод московской зимы, прижимающийся к окнам.

И вдруг, Жасмин улыбнулась.

Медленно. Почти незаметно. Чуть вогнулась линия губ, легкий наклон головы, как дверь, приоткрывшаяся ровно настолько, чтобы пропустить полоску света. Она смотрела мне в глаза, и в этот миг вся библиотека отступила, стеллажи и столы, пыльные углы, все растворилось в сером.

Вот же...

Я вернулся к конспектам. Но буквы расплывались, а пульс глухим гулом стоял в ушах. Я чувствовал на затылке призрачную тяжесть ее внимания, тепло, которому нечего было делать в шесть утра в холодной библиотеке.

Я снова поднял глаза. Она все еще смотрела на меня. Улыбка исчезла, а взгляд не сдвинулся.

Дверь была приоткрыта. И я не мог ее закрыть.

Глава 3. Муж

ЖАСМИН

Ресторан назывался «Турандот», и это было место, где официанты ходили во фраках, а люстры стоили больше, чем квартиры большинства людей. По потолку тек золотой лист, где-то скрыто журчало фортепиано, играющее Шопена. Скатерти были настолько белые, что светились. Каждая поверхность отполирована, каждый угол выверен, каждый звук заглушен богатством.

Я сидела за круглым столом, накрытым белым полотном, в окружении восьми мужчин в темных костюмах и их жен в бриллиантах, и пыталась вспомнить, как дышать.

Амир был справа от меня, его рука то и дело касалась моего предплечья жестом, который должен был интерпретироваться нежность. Ногти у него были безупречные, ухоженные, руки человека, который в жизни не вымыл ни одной тарелки. Слева от меня сидели его партнеры по бизнесу, катарцы, русские, один эмиратец, и они обсуждали что-то о нефтяных фьючерсах, за чем я перестала следить минут двадцать назад. Цифры проплывали мимо: проценты, баррели, стратегии хеджирования, ни одно не задерживалось.

Я улыбалась, кивала. Отщипывала маленькие кусочки лосося, который положили передо мной, хотя желудок был затянут в узел. Вино стояло нетронутым у моего бокала; я не пью, официанту об этом сказали, но бутылку все равно поставили рядом с моей тарелкой, как немое напоминание о том, что ожидается. Лосось был приготовлен идеально, нежный как масло, и я не чувствовала его вкуса.

«Вы очень мало говорите, Жасмин».

Это сказала Фатима, жена одного из партнеров Амира. Лет сорока, безупречно одетая в костюм от Диор, волосы собраны в гладкий боб, который стоил дороже, чем мое месячное содержание. Ногти у нее были кроваво-красные. Улыбка острая.

«Я еще учу русский», сказала я. «Не хочу смущать мужа».

«Ну что вы, что вы», Фатима махнула рукой. Бриллиант размером с нут поймал свет. «Вы должны говорить. Мы здесь все свои. Расскажите о своей учебе. Вы ведь в медицинском университете, да?»

«Да».

«Как увлекательно». В голосе Фатимы не было ни капли интереса. Это был тон человека, спрашивающего о необычном питомце: о трехлапой кошке, о птице, умеющей называть свое имя. «Такая требовательная область. А вы такая... юная».

«Я люблю вызовы».

«Не сомневаюсь». Глаза Фатимы скользнули к Амиру, взвешивая его реакцию. «Ваша жена очень амбициозна, Амир».

Амир рассмеялся, звуком натренированным и легким. «Ей нравится быть при деле. Это держит ее подальше от неприятностей».

Стол засмеялся. Моя улыбка так и осталась на лице. Мышцы щек давно выучили точное напряжение, нужное, чтобы удерживать ее на месте. Я считала расстояния: от стола до двери двенадцать шагов, от двери до улицы еще десять. Расчеты давали мне занятие.

«Ее родня из Пуэрто-Рико, верно?» спросила другая жена. Моложе, лет тридцати, с повадкой человека, который коллекционирует факты о людях так, как другие женщины коллекционируют туфли. «Я была в Сан-Хуане однажды. Красивые пляжи».

«Моя мать пуэрториканка. Отец катарец».

«Как экзотично», сказала Фатима, и это слово ударило меня как пощечина.

Я слышала его раньше. В Дохе, где моя более темная кожа и более свободные кудри отмечали меня как чужую среди арабов Залива. В Сан-Хуане, где мое арабское имя и свободный испанский заставляли людей замедляться. Куда бы я ни ехала, я была экзотичным питомцем, диковинкой, вещью, о которой принято рассказывать. Никогда человеком. Никогда просто собой. Вечно гибридом, полукровкой, интересной смесью.

Я отпила воды и улыбнулась сильнее. стакан был холодным на ладони. Я представила, как сжимаю вместо него скальпель.

Амир накрыл мою руку своей — под столом, незаметно для остальных, — и я вздрогнула, потому что пальцы его были холодные, как у человека, который долго держал что-то мерзлое. Он не заметил. Он говорил с партнером о терминалах, о сделке, о том, что «в следующем квартале мы войдем на этот рынок», — и пальцы его тем временем гладили мою ладонь, рассеянно, по привычке, как гладят ручку кресла или подлокотник.

Я смотрела на его руку: ухоженную, с часами, которые стоят больше, чем год аренды моей комнаты — той, что я снимала, пока училась в Дохе, до нашего брака; в той комнате была одна кровать, один стол и окно во двор, где пахло жареным луком. Я вспомнила, как гордилась этой комнатой. Как показывала ее маме по видеосвязи, и мама плакала, потому что ей казалось, что я живу бедно. А мне казалось, что я живу.

— Жасмин, — сказала Фатима через стол. — А вы, наверное, будете скучать по дому, по солнцу?

— Здесь тоже есть солнце, — сказала я. — Просто оно другое.

— Какое же?

— Сдержанное. — Я искала слова. — Как человек, который улыбается, но не сразу.

Стол засмеялся — кажется, искренне. Даже муж Фатимы, молчаливый, с лицом человека, который годами не меняет выражения, хмыкнул в тарелку. Амир сжал мои пальцы под столом — сильнее, чем нужно, — и я поняла: ему понравилось, что я его развлекаю, что я работаю на его вечер. Я была той самой ножкой стола, которая держит всю конструкцию, и никто не благодарит ножку.

Фатима не унималась:

— И все же, Жасмин, серьезно: зачем вам это все? У вас есть муж, у вас будет дом. Хирургия — это навсегда. Это жизнь, в которой ты не принадлежишь себе.

Я посмотрела на нее. Она была старше меня на двадцать лет, безупречная, с бриллиантом размером с нут, и говорила это не со зла — я уже умела отличать зло от непонимания. Она говорила так, как говорили все: потому что не могла представить, что у меня может быть своя причина.

— Я хочу, — сказала я, — чтобы, когда я смотрю на свои руки, я видела не то, что мне купили, а то, что я умею.

Тишина за столом длилась секунду, не больше. Потом Амир рассмеялся, звонко, по-своему, и поднял бокал:

— За руки моей жены! Пусть они делают что хотят, лишь бы они были дома!

Все выпили, и я выпила, и улыбка моя держалась ровно, как учили, а под столом я медленно, осторожно, вытащила свою ладонь из его пальцев и положила ее на колено — свою, только свою, — и сжала в кулак, считая костяшки: пять, четыре, три, два, одна. Все пили вино, для мусульман за границей это было нормой, а я пила воду. Я никогда ничего не пила.

Вдруг я вспомнила первый месяц нашего брака. Неделью после свадьбы, когда Амир повез меня в Стамбул. Мы были в маленьком ресторане у Гранд-базара, и меня мучила тоска по дому, я была подавлена и молчала. Он сделал заказ по-турецки, на языке, которого я не знала, а потом протянул руку через стол и взял мою. «Я еще не умею быть мужем», сказал он тогда. «Но я хочу научиться. Скажи, что тебе нужно». Я видела в его лице тогда что-то: не бизнесмена, не переговорщика, а мальчика, выросшего на том, как его отец любил его мать, и верившего,

что сможет так же. Теперь это воспоминание казалось фотографией чужого человека. Доброта, скисшая в обязанность. Забота, которую он сам в себе выработал.

Ужин длился три часа. К концу у меня болело лицо от улыбки, а голова онемела от усилий притворства. Я отвечала на вопросы о своей учебе, о семье, о планах: «Да, я изучаю медицину. Да, это трудно. Нет, я не собираюсь практиковать. То есть, когда-нибудь. То есть, я не знаю». Ответы менялись в зависимости от того, кто спрашивал. Я становилась экспертом по тому, как говорить людям то, что они хотят услышать. Принесли десерт: шоколадную сферу, на которую официант вылил теплый соус, и она растаяла, раскрывшись, а я смотрела, как она тает, не притронувшись. Я считала блюда: четыре. Я считала минуты между блюдами: пятнадцать. Я прикидывала, сколько своей жизни просидела за такими столами, улыбаясь людям, которые меня не видят. Цифра выходила слишком большая.

Я отпросилась в уборную и стояла одна в мраморной кабинке, прижав ладони к холодной столешнице. Свет был теплый, льстивый, созданный, чтобы все выглядели как можно лучше. Женщина в расшитом пайетками платье вошла, подправила помаду и ушла, не взглянув на меня. Я смотрела на собственное отражение в зеркале с позолоченной рамой: хайлайтер на скулах, тщательный макияж, то, как меня уложили в чужое представление о красоте. Сегодня я себя не узнавала. По большей части вечеров не узнавала.

Дверь хлопнула, и я услышала два голоса — быстрых, женских, тех интонаций, которые я научилась распознавать за один семестр светской жизни: сейчас они говорили обо мне, потому что только обо мне не говорят, когда говорят вот так.

— ...представляешь, она приехала сюда учиться. Студентка, — сказал первый голос, и я узнала Фатиму. — Амир говорит, она будет хирургом. Ну конечно.

— Говорят, место в университете купили, — отозвался второй. — Такие, как она, ничего не покупают сами.

— Конечно купили. Или связи. У них с этим просто, в этих ваших... — Фатима запнулась, подбирая слово, и я услышала, как щелкнула ее помада. — В общем, редко кто из них по-настоящему учится. Им главное — статус.

Вода зашумела в кране. Я стояла за дверью кабинки, прижав ладонь к холодному мрамору, и не дышала. В груди было тесно, как в лифте, который застрял между этажами.

— Она милая, — сказала вторая. — Я бы не сказала, что она про статус.

— Милая — это другое. Милая — это про то, чтобы нравиться. — Фатима хмыкнула. — Запомни: когда такая девушка говорит, что хочет учиться, она имеет в виду, что хочет, чтобы ее считали особенной. А в медицинском университете это не работает. Там или режешь, или тебя режут.

— Ты жестокая.

— Я не жестокая, я опытная. Посмотрим, что она скажет через год, когда родит.

Кран закрылся. Голоса зашуршали полотенцами, зацокали каблучками и ушли, и дверь за ними мягко встала на место. Я стояла, не шевелясь, в мраморной тишине, и смотрела на свои руки: смуглые, с коротко остриженными ногтями — накладные ногти я сняла в первый же день на старте, и Амир сказал «зачем», и я сказала «мешают». Эти руки держали скальпель. Эти руки резали фасцию и не дрожали. А теперь они лежали на холодном мраморе, и я смотрела на них, как на чужих.

«Там или режешь, или тебя режут».

Я выпрямилась, спустила воду, вышла, вымыла руки и посмотрела в зеркало. Лицо было прежнее: хайлайтер, макияж, чужая красота. Я поправила хиджаб — раз, два, ровно, как учила мать, — и сказала своему отражению тихо, одними губами:

— Я уже режу.

Потом я вернулась к столу, села на свое место, и когда Фатима улыбнулась мне с другого конца стола, я улыбнулась ей в ответ — той же улыбкой, той же мерой, — и подумала: пусть

говорит. Слова — это не скальпель. Слова не оставляют следов на теле, только в душе. А такие шрамы я научилась прятать еще в Дохе.

Амир вез нас домой молча, уткнувшись в телефон, экран бросал на его лицо синий свет. Свободной рукой он лежал на моем бедре с небрежным правом владельца, которому не нужно спрашивать разрешения. Большой палец рисовал рассеянные круги на моей ноге сквозь шелк платья. Я смотрела на его руку, на обручальное кольцо, такое же, как у меня, и не чувствовала ничего.

Квартира встретила нас темнотой. Огни Москва-Сити мерцали сквозь окна от пола до потолка, отбрасывая длинные тени на мраморный пол. Я переоделась в шелковую сорочку в ванной, не торопясь, расчесывая волосы, пока они не заблестели. Я считала движения. Сто. Расческа ходила по волосам, как обряд. Я изучала свое лицо в зеркале: высокие скулы, полные губы, темные глаза, которые мать называла моим лучшим достоянием.

Я гадала, что увидел бы Адриан, если бы посмотрел на меня. Не мое имя, не кольцо, не пентхаус, просто лицо. Увидел бы он то же, что Амир? Актив? Статью в портфеле?

«Цепь», подумала я. «Не украшение. Цепь».

Я слышала, как Амир ходит в спальне, как звякают часы, положенные на тумбочку, как скрипит кровать. Каждый звук точный. Ожидаемый. Я не знала, почему все еще замечаю эти звуки, почему собираю их, почему они застревают в памяти, как занозы.

Я закрыла глаза и досчитала до десяти.

Я прижала ладонь к холодному мрамору туалетного столика. Поверхность гладкая, дорогая, привезенная из Италии, Амир называл мне ее цену три раза. Я посмотрела на собственное лицо в зеркале и попыталась вспомнить, кем я была до кольца. Девочка, любившая анатомию. Девочка, заучившая наизусть каждую кость человеческого тела до шестнадцати лет. Девочка, подавшая документы в медицинскую школу, не сказав отцу, потому что знала, что он откажет. Эта девочка все еще была где-то здесь, зарытая под шелком и бриллиантами. Мне просто нужно было ее найти.

Я приоткрыла дверь ванной. Амир все еще был в телефоне, лицо светилось синим, он смеялся над чем-то на экране. Я смотрела на него мгновение, невидимая, и пыталась вспомнить, что заставило меня сказать да. Его уверенность? Его деньги? То, как он дал мне почувствовать себя избранной, после того как я всю жизнь чувствовала себя слишком одной вещью и недостаточно другой? Я больше не могла вспомнить.

Когда я вышла, он лежал на спине, листая телефон. Экран бросал синий свет на его лицо. Он поднял глаза, когда я вошла, и я увидела, как его взгляд плывет по моему телу с той же оценкой, что и при первой встрече: прикидывая, вычисляя, взвешивая мою ценность. Как будто я была портфелем акций, который пересматривают раз в квартал.

«Иди сюда», сказал он.

Я забралась на кровать рядом с ним. Он отложил телефон и повернулся ко мне, рука легла на мое бедро, притягивая. Его кожа была теплой, но это тепло казалось механическим: жар машины, а не человека.

«Ты была сегодня прекрасна», сказал он. «Мои партнеры впечатлены».

«Они были любезны».

«Они были точны». Его губы нашли мою шею. «Ты лучшее, что я когда-либо покупал».

Слова попали мне в грудь занозой. Я не отреагировала. Я выучила как не реагировать. Тело оставалось мягким, податливым, принимающим. Сознание парило где-то над кроватью, наблюдая за сценой с потолка.

Его руки двинулись вниз по моему телу, механические, натренированные. Он целовал мое плечо, ключицу, губы. Его тело было теплым и тяжелым, дыхание уже участилось. Я чувствовала запах его одеколона, дорогого, древесного, смешанного со слабой солоноватостью кожи. Я не чувствовала ничего знакомого, ничего, от чего мне было бы спокойно.

Я смотрела в потолок. В штукатурке шла тонкая трещина от плафона к углу. Я считала ее длину в сантиметрах. Я представляла, как оседает здание, как подстраивается стальной каркас, как гнутся на ветру стеклянные панели на высоте пятьдесят четвертого этажа.

Я думала об «Анатомии Грея». О костях верхней конечности. О ключице, лопатке, плечевой кости. О заднем пучке плечевого сплетения. О подмышечном нерве, ответвляющемся до разделения на лучевой. Страница семьсот восемьдесят три. Адриан знал бы эту страницу. Он бы проверил.

Его тело двигалось на мне. Его руки держали мои бедра. Его рот издавал звуки, которые должны были означать удовольствие. Но между нами не было ничего, кроме трения. Без жара. Без электричества. Только тяжесть его тела и пустота моего. Механическое давление плоти на плоть.

Три минуты. Может, четыре.

Он кончил, отвернулся и уснул меньше чем за минуту. Дыхание стало глубоким и ровным, рука упала поперек подушки, где лежала моя голова. Он повернулся ко мне спиной, стена мышц и костей. Простыня сползла, открыв изгиб его позвоночника, и я смотрела на него, не чувствуя ничего.

Я лежала без сна, тело одеревенело, глаза сухие. Шелковая сорочка сбилась у пояса. Я одернула ее, разгладила по бедрам. Лежала, слушала его дыхание, и звук этот был как закрывающаяся дверь.

Я думала об анатомической. О холодном стальном столе. О запахе формалина. О том, как двигались руки Адриана: не так, как у Амира, не хватая и забирая, а точно и бережно, каждое движение осознанное. Я представляла, каково это: когда тебя касаются такие руки. Руки, которые знают, что делают, потому что учились, потому что им важно сделать правильно. Мысль была опасной, и я оттолкнула ее.

Но она возвращалась. С этого дня она всегда возвращалась.

Я повернула голову, чтобы посмотреть на него: красивое лицо, дорогая стрижка, ухоженные руки. Человек, за которого я вышла замуж. Он был щедрым и успешным, и все говорили мне, как мне повезло. Моя мать плакала на свадьбе. «Он о тебе позаботится, доченька».

Но, лежа рядом с ним, я чувствовала себя на другом берегу океана. Континент между нами. Целая вселенная пустого пространства, которое я не знала, как пересечь.

На тумбочке зажужжал телефон.

Я потянулась за ним, стараясь не разбудить его. Экран светился в темноте. Уведомление из группового чата курса. Кто-то оставил комментарий в обсуждении по анатомии: поправку к картированию нервов, которое мы делали в лаборатории.

Я открыла его.

Это был Адриан Кузнецов.

Его ответ занимал три абзаца, разбирая исходный пост с точностью хирурга. Он заметил ошибку в картировании плечевого сплетения, которую пропустили все остальные. Каждое предложение падало, как приговор. Он писал так же, как препарировал: точно, остро, ни одного лишнего движения.

Я прочла раз. Два. Три. Слова светились в темноте спальни. Амир заворочался рядом, что-то бормоча во сне.

В груди что-то шевельнулось. Что-то, чего я не чувствовала месяцами, может годами. Вспышка. Тепло. Внезапное, острое осознание, что на свете есть другой мир, мир мозгов и споров и людей, которые смотрят на меня как на коллегу, а не как на собственность.

Я лежала, глядя в потолок, а в груди все еще было горячо — то тепло, которое не уходило, как не уходит жар от лампы, к которой прикоснулся.

Я села. Осторожно, стараясь не потревожить воздух, чтобы не разбудить его дыхание, ровное, как часы, — и взяла телефон, и открыла тот чат, и перечитала его ответ еще раз, и еще, как перечитывают письмо, от которого не знаешь, чего ждать.

А потом я снова потянулась — не за телефоном. За сумкой. Она стояла у кровати, и внутри лежала моя тетрадь, кожаная, с потертыми уголками, мамин подарок, и в ней — мои записи по плечевому сплетению, сделанные еще в Дохе, карандашом, по-английски, с пометками «проверить». Я открыла ее на закладке, села поудобнее, поджав ноги, и стала читать, сверяя с его постом.

Страница семьсот восемьдесят третья «Анатомии Грея» всплыла в памяти сама, как всплывает лицо, которое учил наизусть. Задний пучок. Подмышечный нерв. Разделение. В его ответе было все точно — все, кроме одного: он описал ветвление так, будто подмышечный нерв отходит после деления, а не до него. Ошибка в одну строчку. В одну — но для анатомии не бывает маленьких ошибок. Бывают ошибки, и бывает смерть.

Я сидела на кровати в темноте, держа тетрадь на коленях, и у меня стучало сердце. Я знала, что права. Я знала — так же точно, как знала, что завтра будет дождь по тому, как ноет за окном сырость. Я провела пальцем по своей старой схеме: задний пучок, маленькая веточка вбок, до деления, — я нарисовала ее в Дохе, на веранде, при свете лампы, потому что не могла уснуть, потому что мне нравилось, как выглядит правда на бумаге.

«Написать?»

Слово пришло само, и я не сразу поняла, что это я его думаю. Написать в этот чат. Под его ответом. Свое имя — рядом с его именем — на глазах у всех.

— Это безумие, — прошептала я в темноту.

Но пальцы уже открыли поле ввода. Амир заворочался, что-то бормоча во сне, и я замерла, прислушиваясь к его дыханию, — ровное, как часы, ничего не слышал, — и снова посмотрела в экран. Свет ложился на мои руки, на тетрадь, на схему, нарисованную в Дохе на веранде, при свете лампы, за тысячи километров отсюда — и я подумала: вот она, граница. Я могу закрыть телефон и лечь, стать женой, которая спит, когда ей положено. Или я могу написать — и стать собой.

Сообщение заняло у меня минуту. Я перечитала его три раза, исправила два слова, стерла одно, добавила другое. Палец завис над «отправить».

Амир дышал ровно. Город за окном дышал огнями. А я сидела на кровати в Москве, в чужой квартире, с чужой фамилией, в чужой жизни — и держала в руке кнопку, которая возвращала мне мою.

«Он гениален».

Я пролистала вверх, к исходному посту, потом вниз, к его ответу. Он был прав. Полностью и сокрушительно прав. И то, как он это написал, холодная уверенность, отказ смягчать свою правоту, заставляло меня хотеть спорить с ним. Хотеть доказать, что я могу держаться наравне. Хотеть перерыть свои записи и найти пробел, который упустили все.

Я покосилась на Амира. Он похрапывал, лицо во сне обмякло, рука лежала поперек моей подушки. Рот был приоткрыт.

Я посмотрела на телефон.

Мои пальцы задвигались раньше, чем мозг догнал их.

«Твоя интерпретация ветвления лучевого нерва неполна. Задний пучок отдает подмышечный нерв до разделения на лучевой и подлопаточный, твое описание пропускает это деление. Проверь страницу семьсот восемьдесят три „Анатомии Грея“».

Я нажала «отправить», прежде чем успела себя остановить.

Сообщение лежало в чате, дожидаясь. Я глядела на него, сердце колотилось, дыхание сбивалось. Я сделала это. Я поставила свое имя рядом с его, на публику, в ветке, которую прочитает каждый третьекурсник.

Я представила, как он открывает приложение. Видит мое имя. Читает мои слова. Я представила выражение его лица: он улыбнется? Нахмурится? Я не могла это вообразить. Я видела его только злым, настороженным и один раз, извиняющимся. Я хотела увидеть, как он выглядит, когда впечатлен.

«Что я только что сделала?»

Я положила телефон экраном вверх и уставилась в потолок. Тонкая трещина в штукатурке поймала отсвет уличного фонаря. Она была похожа на нерв, подумала я. На ветвящийся аксон, который делится и делится, пока не добирается до цели.

Амир заворочался рядом, что-то бормоча во сне.

Я долго не могла уснуть.

А когда задремала, мне снились серые глаза и потертая кожаная куртка и голос, который назвал меня аксессуаром, и это не имело смысла, потому что я должна его ненавидеть.

Но я не ненавидела.

И этого в животе все сжималось, и мне становилось нехорошо.

Глава 4. Ответ

АДРИАН

Три дня.

Я думал о ее ответе три дня, и он не выходил у меня из головы.

Я сидел в библиотеке за тем же угловым столом, что всегда, среди книг, которые давно перестал читать. Ноутбук был открыт на доске обсуждений курса. И там, под моим сообщением, лежал ее комментарий, как вызов.

«Ваша раскладка верна, но ваша интерпретация ветвления лучевого нерва неполна».

Я проверил «Анатомию Грея» в ту же ночь, когда она это написала. Она была права. Я пропустил деление подмышечного нерва. Мелочь, которая не имела бы значения для практического экзамена, но я ее заметил.

Заметил.

А это значило, что я прочитал ее сообщение внимательно. Не пробежал глазами, а именно прочитал, разобрал, нашел щель. Я вступила в спор с моим аргументом как равный. Не как студентка, поправляющая чужую мелочность, а как коллега, который ждет от себя большего.

А потом она поправила меня. Публично. На глазах у всего потока.

Я должен злиться. И злился, немного. Кузнецов не любит, когда его поправляют.

Но под обидой было что-то еще. Что-то, отчего я закрыл ноутбук, встал и пошел через библиотеку, прежде чем успел принять это решение сознательно.

Она сидела в дальнем углу, между стеллажами неврологической литературы. Тот же серый свитер, что и утром, темные волосы распущены до плеч, на экране ноутбука что-то похожее на задание по фармакологии. Она грызла кончик ручки, хмурясь в монитор. Рядом стояла кружка с чаем, нетронутая, остывшая. Я видел ее записи: аккуратные, с пометками, размеченные цветом. Она училась так же, как препарировала: методично, ничего не оставляя на волю случая.

Я сел напротив, не спрашивая разрешения.

Она подняла глаза. Хмурость стала глубже, но не от недовольства. От удивления.

«Кузнецов».

«Аль-Танни».

«Ты сидишь за моим столом».

«Я заметил».

Пауза. Ручка в ее руке замерла.

«Чем могу помочь?»

«Ты была права».

Она моргнула.

«В чем?»

«Подмышечный нерв. Страница семьсот восемьдесят три у Грея. Я проверил».

Ее брови поднялись на долю дюйма.

«Ты проверил».

«Я всегда проверяю. Так я учусь».

«Нет», медленно ответила она. «Ты проверил, потому что я заставила тебя проверить».

Я не стал отрицать. Не мог. Мы смотрели друг на друга через стопку книг между нами, и воздух снова сделал свое дело: сгустился, стал плотным, почти осязаемым.

«В стандартных анатомических атласах на иллюстрациях эту деталь ветвления опускают», сказала она. «Они показывают задний пучок, расходящийся сразу на лучевой и подмышечный, но это упрощение. На самом деле подмышечный нерв отходит первым, на несколько миллиметров ближе к туловищу, чем место деления лучевого. Это важно для хирургического доступа к проксимальной части плечевой кости».

«Я знаю».

«Тогда почему ты ее опустил?»

Я откинулся на спинку стула.

«Потому что в вопросе просили перечислить основные ветви плечевого сплетения, а не полный список. И потому что я рассчитывал, что обсуждение останется на уровне остальных студентов».

«На их уровне?»

«Ты слышала вопросы на парах. Половина не отличит срединный нерв от локтевого. Зачем заваливать деталями тех, кто их не оценит?»

Она изучала меня. Взгляд прошелся по моему лицу, как по тексту, выискивая подтекст под словами.

«А я?» тихо спросила она. «Я бы оценила?»

Я выдержал ее взгляд.

«Ты только что доказала, что да».

В ее лице что-то дрогнуло. Не совсем улыбка: скорее дверь, приоткрывшаяся еще на ладонь. Она отложила ручку и сложила руки на столе.

«Зачем ты на самом деле подошел, Кузнецов?»

Хорошего ответа у меня не было. Я подошел без плана, ведомый чем-то, чего не понимал сам. Я видел пульс у нее на шее: ровный ритм в мягкой ямке над ключицей. Я подумывал соврать, придумать предлог: вопрос по учебе, забота о лабораторной, что угодно, лишь бы объяснить, зачем я пересек библиотеку, чтобы сесть напротив замужней женщины в полночь.

Вместо этого я сказал:

«Я хотел посмотреть, сделаешь ли ты это снова».

«Что?»

«Поправишь меня».

Ее губы изогнулись.

«Зависит от того, часто ли ты ошибаешься».

«Чаще, чем хотелось бы признавать».

«Тогда да. Буду поправлять тебя каждый раз».

Теперь улыбка настоящая. Слабая, но настоящая. Она ударила меня в неожиданном месте: у основания горла. Она излучала тепло, которому нечего делать в этом холодном городе. Мы разговаривали двадцать минут. Потом сорок. Потом час.

Я спросил о ее русском. Она призналась, что спотыкается на медицинской терминологии. Я предложил помочь. Она спросила, есть ли у меня время.

«Время не проблема», ответил я. «Я работаю по ночам. Дни у меня свободны».

«Ты работаешь?»

«Уборка. Выставочный центр возле университета. Четыре ночи в неделю».

Она не отвела взгляд. Не поморщилась. Просто кивнула, будто уложила эту информацию в архив, в портрет, который рисовала обо мне. Я видел, как ее взгляд зацепился за потертую манжету моей рубашки и тут же отскочил, будто она поняла, что я заметил.

«И, прежде чем ты спросишь», сказал я, «да, на это я учусь. Да, я вымотан. И нет, мне не нужна твоя жалость».

«Кто сказал, что я ее предлагала?»

«Ты думала».

«Я думала о том, что ты работаешь четыре ночи в неделю и все равно обходишь половину курса. Это не жалость. Это уважение».

У меня свело челюсть. Я не знал, что на это ответить. Я так долго был невидимкой, бедным мальчиком с другого конца страны, что забыл, каково это, когда тебя видят. Когда смотрят на твою работу, а не на стоптанные ботинки и потертые манжеты.

«А ты?» спросил я, откидываясь на спинку. Дерево подо мной скрипнуло. «Ты совсем не такая, какой я тебя представлял».

«А какой ты меня представлял?»

Я подумал.

«Такую, что сидит на первой парте и задает вопросы, на которые уже знает ответ. Такую, что носит свои деньги, как броню».

«А теперь что ты видишь?»

«Ту, что заметила мою ошибку. Ту, что сидит в дальнем углу библиотеки в полночь, что учится вместо сна».

«Очень наблюдательно».

«Я медик. Наблюдение это моя работа».

«Нет», сказала она уже тише. «Как медик ты наблюдаешь тела. Людей ты не наблюдаешь. Скорее, это твоя личная супер способность».

Это был первый человек, который разделил для меня эти два слова. Я не знал, что ответить.

Тишина между нами стояла плотная, теплая, как вата в операционной: в ней все слышно и ничего не разобрать.

Я смотрел на нее, и ее слова все еще держали меня за горло.

Она не спешила заполнять паузу. Это был навык, которого у меня не было. Я бы уже говорил что угодно, лишь бы не молчать. А она сидела с ручкой в руке и давала тишине работать, как аппарату: спокойно, без суеты, доверяя результату.

Где-то в конце зала уборщица поставила стул на стол, и звук прокатился по пустому помещению, как выстрел. Библиотека пустела. Я не вздрогнул — я смотрел на ее руки: смуглые пальцы, ровные ногти, никакого лака. На левом безымянном палец перехватывало кольцо, тяжелое, поймавшее тусклый свет настольной лампы. Я знал, что оно там. Я знал это с той секунды, как сел напротив, и все равно смотрел, будто видел в первый раз: чужое, теплое, живое на ее руке.

«Ты наблюдаешь тела. Людей ты не наблюдаешь».

Слова повторялись во мне, как звук камертона. Я перебирал их, как перебирают швы на ране: проверял, не жмут ли, не разошлись ли криво. Никто никогда не говорил мне этого. Никто не разделял эти два слова — а она взяла и разделила, положила между нами, как препарат на предметное стекло. И теперь я видел их насквозь: тела — это работа. Люди — это то, от чего я бежал.

Она вернулась к конспекту. Писала, не глядя на меня, и это было хуже всего: будто портрет мой уже сложился у нее в голове, и мне оставалось дочитать его до конца.

Я смотрел, как ложится строчка. Как ручка делает крошечную паузу перед абзацем: она думала быстрее, чем рука успевала.

И в этой тишине, под гул ламп и стук радиатора, вопрос собрался у меня в груди сам, без моего участия: тяжелый, горячий, как камень, который я нес через всю библиотеку, сам не зная зачем.

«Почему ты здесь?» спросил я.

Она склонила голову.

«Библиотека закрывается через два часа».

«Я не о том. Ты замужем за миллиардером. У тебя пентхаус. У тебя могли бы быть репетиторы, частные уроки, дорога полегче. Почему ты здесь, в полночь, в обшарпанной библиотеке, учишь фармакологию, как будто от нее зависит жизнь?»

Она долго молчала. Глаза опустились на руки, сложенные на столе. Когда она заговорила, голос был ниже.

«Потому что если я остановлюсь, я утону».

«В чем?»

Она подняла глаза. Темные, ровные, но под ними я увидел что-то сырое, незащищенное. Дверь, приоткрытая нарочно, чтобы я заглянул.

«Во всем остальном».

Слова повисли между нами. Я не стал давить. Просто сидел напротив и дал тишине постоять за нас обоих. Мне хотелось спросить больше: что такое «все остальное», кто ее ранил, от чего она бежит. Но я промолчал. Потому что некоторые двери должны открываться сами.

Она окликнула меня, когда я встал, чтобы уйти.

«Кузнецов... Адриан, подожди».

Я остановился на полушаге и обернулся. Она сидела неподвижно, руки по-прежнему сложены, лицо нечитаемое.

Она ничего не сказала. Просто выдержала мой взгляд.

Секунда. Пять. Десять.

Мне казалось, ее взгляд лежит у меня на груди, как ладонь. Она не говорила, но говорила: вопрос, на который я не знал ответа, приглашение, которое я не был готов принять. Тишина была тяжелее любого нашего разговора. Она тянулась, как струна, гудела.

Я сдался первым.

Развернулся и пошел прочь, ботинки стучали по библиотечному полу, сердце колотилось чаще, чем имело право. В дальнем проходе уборщица мыла пол, и я обошел табличку «осторожно, мокрый пол», толком ее не увидев.

Я не оглянулся.

Но чувствовал ее взгляд на спине до самой двери.

На улице мороз стоял такой, что воздух можно было резать. Я шел через университетский двор, и шаги мои стучали по асфальту, как чужие.

Я не оглянулся. Не позволил себе. Но между лопатками я все еще нес тепло ее взгляда: оно держалось, как держится последнее тепло остывающей печи, и не собиралось отпускать.

Ночная Москва была пустой и честной. Редкие машины, темные витрины, в окнах над улицей чужое электричество чужих жизней. У выставочного центра я замедлил шаг сам, не замечая этого: черный объем здания, дежурная лампа над служебным входом, силуэты с ведрами в светящемся прямоугольнике окна. Завтра я снова буду там. Я почти слышал, как ведро звенит о бетон, — и думал о том, что она сказала: «Это уважение».

Уважение. Я таскал это слово через весь город, как пропуск, который никто не просил показать.

Она доверила мне кусок себя. Человек, которому я не сказал и пяти фраз до этой ночи, сказал мне то, чего не говорил никому, — я это чувствовал по тому, как она произнесла эти слова: низко, осторожно, будто несла хрупкое. Это что-то значило. Я не знал, что именно, но нес это бережно, как нес бы чужой рецепт, в котором важна каждая цифра.

Я перешел дорогу, обходя лужи, затянутые хрупким ледком. Подошва скользила, воздух обжигал легкие, и я думал о том, как она сказала «я утону» — не «я устала», не «мне тяжело», а именно «утону». Люди, которые тонут, не барахтаются. Они идут ко дну тихо, экономя последний воздух. Она не была похожа на человека, который собирается тонуть. Но она знала, как это выглядит, — и это знание тоже лежало у меня в груди, рядом с теплом.

Общежитие встретило меня теплом, пропахшим вареной картошкой и табаком. Вахтерша кивнула, не отрываясь от телефона. Лестница стонала под ногами, за стеной кашлял телевизор.

Я закрыл дверь комнаты, стоял в темноте и не включал свет. В темноте не нужно было притворяться, что я ни о чем не думаю.

Потом я разделся и лег.

В ту ночь, лежа в узкой кровати общежития, я смотрел в потолок и думал о том, как она смотрела на меня в библиотеке.

На меня смотрели и раньше. Девчонки. Женщины. Незнакомки, которые видели высокого белобрысого парня с острыми скулами и решали, что он стоит второго взгляда. Но те взгляды касались поверхности: что я могу им дать или как я заставляю их чувствовать себя.

А Жасмин Аль-Танни смотрела на меня не так, будто я красив. Она смотрела на меня, будто я настоящий. Будто могла разглядеть сквозь броню, которую я строил всю жизнь, до самой сердцевины: мягкой, злой, спрятанной.

Я вспомнил ее лицо, когда она говорила «если я остановлюсь, я утону». Откровенность этого. То, как она доверила мне этот кусок себя.

Вот же...

Я закрыл глаза ладонями и попытался думать о чем угодно другом: о фармакологии, об анатомии, о расписании смен на следующую неделю. Но ее лицо всплывало снова, ее взгляд держал меня через стол, ее тихий голос повторял слова, которые я не мог забыть.

«Буду поправлять тебя всегда».

Я улыбнулся в темноте. Слабая, невольная улыбка, за которую я тут же себя возненавидел.

На следующий день в столовой я сидел один за узким столиком у окна, передо мной стоял поднос с нетронутой едой. Столовая пахла вареной капустой и дешевым мясом, над пароварками шипела серая жидкость. Вокруг толпились студенты, болтали и смеялись, а я отгородился своей привычной дистанцией. Сквозь замызанное стекло был виден двор: серый камень, мокрые скамейки, одинокая кошка, бредущая по брусчатке.

Потом вошла она.

Жасмин прошла с подносом, окинула зал взглядом и нашла меня глазами. Замерла на полсекунды. Я видел, как другие вокруг тоже заметили: пара голов повернулась, пошли шепотки. Девушка из группы Ивановой толкнула подругу локтем и кивнула подбородком в сторону Жасмин. Я видел, как она почувствовала эти взгляды и осознанно решила не обращать внимания.

А потом она подошла к моему столу и села напротив.

«Ты ешь один», сказала она.

«Ты тоже».

«Уже нет» - улыбнулась Жасмин.

Она поставила поднос: тарелку супа, кусок черного хлеба, стакан воды. Еда у нее была точно такая же, как у всех, и я это заметил. Она не искала для себя особых условий.

«Что тебе нужно, Аль-Танни?»

«Я хочу узнать, почему ты заваливаешь фармакологию».

Я уставился на нее.

«Я не заваливаю фармакологию».

«Твой балл за контрольную говорит об обратном».

По мне прошел холодок.

«Откуда ты знаешь мой балл?»

«Так же, как ты знаешь, что я набрала девяносто семь процентов на вступительном экзамене. Я спросила».

Я не мог понять, смеется она надо мной или правда хочет помочь. Лицо ее ничего не выдавало.

«Мне не нужна твоя помощь», сказал я. Слова прозвучали жестче, чем я хотел.

«Возможно. Но мне нужен кто-то, с кем можно репетировать устные экзамены. Ты единственный, кто может выдержать мой темп».

Она произнесла это ровно, как сделку. Но я заметил, как дернулся уголок ее рта: почти улыбка. Я подумал о вечерней смене, о том, как ломит спину от швабры, о том, что к трем часам ночи руки пахнут хлоркой. Я подумал, что надо отказаться. Я подумал, как я устал.

Но она все еще смотрела на меня, и от этого взгляда усталость казалась тем, что можно тащить.

«Хорошо», сказал я. «Завтра в семь в библиотеке».

Жасмин кивнула медленно, будто перебарывая саму себя.

Она взяла хлеб, отломил кусок и принялась есть. Я смотрел, как она ест, как двигаются ее пальцы: точно, экономно, будто она держит препарат. Она промокнула уголок рта салфеткой, маленький жест, который зацепил меня сильнее, чем должен был.

Люди таращились. Я чувствовал их взгляды на нашем столике: бедный парень из Электростали и катарская принцесса, сидят вместе, как какой-то социальный эксперимент. Даже четверокурсники за соседним столом притихли.

«Кузнецов», сказала она, возвращая меня в разговор. «Ты всегда ешь, как перед боем?»

Я посмотрел на свой поднос. Я набрасывался на еду так же, как на все остальное: быстро, агрессивно, эффективно.

«Привычка».

«Тебе стоит есть медленнее. Заработаешь проблемы с желудком».

«Добавлю в список того, что мне нужно».

Она чуть не улыбнулась. Почти. Губы изогнулись и тут же себя осекли, и она опустила взгляд в суп.

Я отвернулся. Взял вилку. Впервые за несколько недель мне не хотелось есть одному.

Я ел медленно. Не потому, что она велела, — потому что впервые за долгое время я чувствовал вкус, а не просто жевал, чтобы поставить галочку между парами.

Она смотрела, как я ем. В этом взгляде не было жалости. Было что-то от экзамена: я сдавал, она принимала.

«Бета-блокаторы», сказала она, отложив ложку. «Механизм действия».

«Снижают частоту и силу сердечных сокращений, блокируя бета-адренорецепторы миокарда. Применяются при гипертонии, стенокардии, нарушениях ритма».

«Побочные эффекты».

«Брадикардия, бронхоспазм, утомляемость. С осторожностью при астме».

Она кивнула — одним коротким движением, как ставят отметку в журнале, — и вернулась к супу. «Ты не заваливаешь фармакологию, Кузнецов. Ты просто не готовишься к экзамену».

«Не вижу разницы».

«Разница есть». Она подцепила ломтик хлеба, не сводя с меня глаз. «Заваливают, когда не знают. А ты знаешь. Ты обмениваешь время на что-то другое, и экзамен это честно показывает».

Я прожевал, прежде чем ответить. На что я экономлю себя? На ночные смены. На сон. На броню, которую строил всю жизнь и которую она, кажется, видела насквозь с первого раза.

«Тогда на что?» спросила она, будто услышала.

«Пока не знаю», ответил я честно. Это было самое честное, что я сказал за неделю.

Она не стала давить. Кивнула и продолжила есть. И это тоже было ново: человек, который не раскрывает тебя, как часовую пружину, а просто ждет, когда стрелка встанет сама.

Столовая пуста. Мы остались последними, и в этом было что-то от библиотеки: когда зал пустой, слова звучат иначе, без свидетелей.

«План на завтра», сказала она, открывая тетрадь. «Сначала контрольные вопросы по фармакологии, потом по анатомии. Я спрашиваю тебя — ты меня».

«Я не собираюсь с тобой соревноваться».

«Я тоже. Поэтому это сработает».

Она закрыла тетрадь, и на секунду мне показалось, что в ее лице дрогнуло что-то, чего я не успел прочитать. За окном смеркалось, и свет в столовой стал желтым, ламповым, домашним.

«Электросталь», сказала она вдруг, и я понял, что она держала это имя весь обед, как камень, который вертит на языке. «Что там, кроме заводов?»

«Заводы. Металлургия. Люди, которые работают по сменам и не жалуются».

«Ты по ней скучаешь».

Это был не вопрос. Я подумал о серых пятиэтажках, о запахе цеха, который въедался в куртки на всю зиму, о дворах, где я научился драться и молчать.

«Скучают по людям, а не по местам», сказал я. «А по людям я скучать не привык».

Мы замолчали оба — и в этой тишине я рассказал ей то, чего не рассказывал никому: как пахнет утро в Электростали, туманом, который держится до одиннадцати, и дымом цехов, въедающимся в куртки так, что никакой шампунь не справлялся. Как город вставал по заводскому гудку, раньше любого будильника, и как я научился спать под этот гудок, а потом — обходиться без него. Как в четырнадцать я впервые увидел море, на школьной экскурсии, и как оно не поместилось у меня в голове: все, что я знал до этого, было серым, плоским и обязательным.

Она слушала, не перебивая. Не кивала — просто держала мой взгляд, и этого было достаточно.

«А ты по чему скучаешь?» спросил я.

«По жаре, которая не кончается. По тому, как в полдень в Дохе воздух стоит стеной и город прячется в тень, а вечером выходит и оживает. Здесь даже лето пахнет осенью».

«Ты бы вернулась?»

Пауза вышла длинной. «Не знаю», сказала она наконец. «Забавно: я хорошо знаю, чего не хочу. И совсем не знаю, чего хочу».

«Это уже больше, чем знают многие».

«Ты так думаешь?»

«Да, половина здесь понятия не имеет ни о первом, ни о втором».

Она посмотрела на меня долгим взглядом, как смотрят на строчку, которую читают второй раз.

«Значит, будешь учиться», сказала она.

Я не нашел, что ответить. Она подождала, кивнула сама себе и поднялась.

«Ты молодец».

И она ушла.

Мы вышли из столовой вместе, плечом к плечу, и коридор будто расступался перед нами. Студенты уходили в сторону, сами не понимая почему, чувствуя между нами что-то вроде силового поля. Я шел, засунув руки в карманы, глядя прямо перед собой. Жасмин шла рядом, сумка висела на плече, шаг легкий.

«Твоя контрольная по фармакологии в следующий четверг», сказала она. «У меня есть план занятий, могу поделиться».

«Мне не нужен план».

«Нужен. Я видела твой балл».

Я остановился. Она тоже остановилась и повернулась ко мне.

«Почему тебе не все равно?» спросил я.

Вопрос повис между нами. Ее взгляд прошелся по моему лицу, и я почувствовал себя голым, будто она видела все отговорки и защиты, которые я когда-либо возводил.

«Потому что если ты завалишь», медленно сказала она, «мне будет не с кем соревноваться».

Она развернулась и пошла, не дожидаясь моего ответа, темные волосы качнулись по спине. Я стоял посреди коридора, глядя, как она растворяется в толпе, и чувствовал, как в груди что-то ломается.

Вот же...подумал я снова. В третий раз за эти дни.

Глава 5. Белая ворона

ЖАСМИН

«Четыре сезона» по выходным пахли деньгами. Не металлическим запахом наличности, а чем-то более тонким: бергамотом, свежими розами и той особой туалетной водой, которой пользуются женщины, никогда не знавшие, что такое тревога. Лаунж был весь из кремового мрамора и мягкого света, официанты бесшумно скользили между столиками, неся бокалы с шампанским и крошечные сэндвичи, нарезанные идеальными треугольниками.

Я сидела за угловым столиком в окружении пяти женщин в возрасте от тридцати до пятидесяти пяти, и все они были замужем за мужчинами, которых хотел впечатлить Амир. Три русские, две катарки. Они говорили вперемешку, свободно перескакивая с арабского на русский и на английский, обсуждали школы своих детей, командировки мужей, планы на Мальдивы в декабре. Русские жаловались на нянь. Катарки сравнивали цены на недвижимость в Лондоне и Дубае.

Я слушала. Я улыбалась. Рука обнимала чашку с чаем, и я смотрела, как вьется и гаснет пар.

«Жасмин, ты сегодня такая тихая».

Это была Лейла, самая молодая из катарских жен. Лет тридцати пяти, безупречна в костюме от Шанель, волосы каскадом темного шелка. Ее сочувствие было искренним, я это чувствовала, и от этого мне становилось только хуже.

«Просто устала», ответила я. «Учусь».

«Понимаю, медицинский не из простых» - согласилась Фатима. Все та же острая улыбка с ужина в «Турандоте». «Ты так много учишься. Когда же у тебя остается время на мужа?»

«Я нахожу время».

«Правда?» Глаза Фатимы блеснули. «Амир обмолвился, что ты сидишь в библиотеке до полуночи. Это очень... самоотверженно».

За столом стало тихо. Я чувствовала на себе вес пяти пар глаз: они взвешивали, раскладывали по полочкам, убирали информацию про запас. Улыбка Фатимы была ножом, ждущим подходящего момента.

«Медицина требует многого», сказала я ровно. «Это не выучишь между завтраком и обедом».

«Да, разумеется». Улыбка Фатимы не касалась глаз. «Я восхищаюсь вашей преданностью делу. Правда. Это, наверное, так трудно: быть единственной в своем роде».

«В своем роде».

У меня сжалась челюсть. Я держала лицо гладким, а руки неподвижными вокруг чашки. Я подумала об анатомической лаборатории: о резком запахе формалина, о весе скальпеля в ладони, о том удовольствии, когда находишь то, чего не заметил никто другой. Эта мысль заякорила меня.

«Такие места, как Сеченовский университет, имеют традиции», продолжала Фатима. «Русская медицина. Русские студенты. Наверное, трудно... вписаться».

«Мне не нужно вписываться. Мне нужно учиться».

«Конечно. И я уверена, у тебя все получится». Тон Фатимы говорил об обратном. «В какой бы карьере ты ни выбрала себе путь. Со временем».

Женщины переглянулись. Лейла заметно напряглась. Русские жены сделали вид, что не понимают, их безупречные руки потянулись к чашкам. Одна поправила свой бриллиантовый браслет, и камни поймали свет люстры.

Я улыбнулась. Я улыбалась уже два месяца. Я начинала забывать, каково это, когда не улыбаешься.

Бранч закончился в два. Я попрощалась, забралась на заднее сиденье внедорожника и попросила Дмитрия ехать домой длинной дорогой.

Я смотрела, как мимо плывет Москва: золотые купола Кремля над стенами из красного кирпича, громоздкие советские панельки с выцветшими фасадами и лесами из спутниковых тарелок, гладкие стеклянные башни делового центра. У собора Василия Блаженного позировали фотографу жених с невестой, белое платье невесты полоскалось на ветру, фата надувалась парусом. На скамейке рядом сидела старушка, кормила голубей из пакета с черствым хлебом. По другой стороне улицы бесшумно скользнул электромобиль мимо «Лады», кашляющей черным дымом.

Я гадала, счастлива ли невеста, или она просто учится улыбаться для объектива, как учусь я. Я гадала, когда именно сама начала улыбаться без всякого смысла. Умение это возникло где-то между Дохой и Москвой, между свадьбой и первым званым ужином, между «да» и «согласна».

Город был столкновением эпох, местом, где история и современность живут бок о бок и не всегда мирно. Как и я сама, подумала я. Столкновение миров, которые никак не стыкуются.

Завибрировал телефон. Мама.

Я едва не сбросила звонок. Разговор с матерью означал либо правду, либо умение врать все лучше, а я не была уверена, что у меня есть силы и на то, и на другое. Но телефон все звонил, и в зеркале заднего вида мелькнул взгляд Дмитрия, и я подняла трубку.

«Миха. Как ты? Я так волновалась».

«Все хорошо, мам».

«Не ври мне. Я твоя мать. Я знаю, когда тебе не „хорошо“».

Я закрыла глаза. Сиденье внедорожника было мягким, подогрев приятно грел спину. Я откинула голову и слушала мамин голос. Тот самый голос, что пел мне колыбельные, что рассказывал мне истории об острове, который покинула моя бабушка, что учил меня: быть наполовину из одного мира и наполовину из другого значит быть целой ни из чего.

«Амир хорошо с тобой обращается?»

«Он занят».

«Занят это не то же самое, что хорошо».

«Мами...»

«Я не осуждаю. Я спрашиваю. Ты счастлива?»

Вопрос кольнул иглой. Я открыла рот, чтобы сказать «да», автоматический ответ, вежливый ответ, тот, что завершит разговор и оставит всех при своем.

Но я не смогла.

«Счастье - это сложно» - заключила я.

Пауза. Мамин голос смягчился.

«„Сложно“ по-испански означает „нет“. Я знаю. Я и сама так отвечала».

Я засмеялась коротким, ломаным смехом. «Я скучаю по тебе».

«Я тоже скучаю, миха. Приезжай домой на Ид».

«Не могу. У меня экзамены».

«У тебя вечно экзамены. Ты от чего-то бежишь. Вопрос в том, от чего».

Я промолчала. Внедорожник переезжал мост через Москву-реку, и я смотрела на воду внизу: темную, холодную, движущуюся без спроса. Под мостом прошла баржа, ее огни отражались в черной воде, как рассыпанное золото. Я думала о мамин голос, зовущем меня ужинать летними вечерами в Сан-Хуане, когда воздух такой влажный, что его можно попробовать на вкус. Я думала о жасмине у окна бабушкиного дома, о том, как цветы распускаются

ночью и наполняют комнату ароматом. Тот мир казался сейчас в миллионе миль отсюда, за стеной из денег, мрамора и тишины.

«Пообещай мне только одно» - сказала мама.

«Что?»

«То, к чему ты стремишься...этого стоит».

Я убрала телефон в сумку и держала ее на коленях, пока экран не погас сам. Мамины слова остались в ушах, как след от камертона.

Внедорожник переехал мост и теперь мчался вдоль набережной. Я смотрела на воду — ту же, что под мостом, но здесь она казалась ближе, почти вровень с бортом. Темная, плотная, она несла по себе мелкий мусор: ветку, бумажный стакан, что-то белое, чего я не успела разглядеть. Вода не спрашивает, куда плыть. Просто плывет.

Я думала о том, от чего бегу. Это был не список, а ощущение: будто я держу над водой что-то тяжелое и не могу разжать руки. Дыхание Фатимы за столом. Пустота пентхауса, которая не кончается. Кольцо, которое тяжелеет с каждым месяцем. Улыбка, которую я надеваю вместо лица.

А потом — другое: тишина библиотеки, запах старых книг, и человек, который посмотрел на меня и не отвел глаз. От него я не бежала. К нему, кажется, бежало все остальное во мне, просто я не разрешала себе это признать.

«Ты от чего-то бежишь. Вопрос в том, от чего», — сказала мама. Я не ответила ей тогда. Может быть, ответила сейчас, глядя на воду: от той, кем я становлюсь понемногу, день за днем, по одному компромиссу.

Я научилась плавать поздно — в одиннадцать, на пляже в Сан-Хуане, куда мама возила меня каждое лето. Она кричала с берега: «Не бойся, вода держит!» А я боялась и шла ко дну, пока не поняла: вода держит, если перестать с ней спорить. Я перестала спорить — и поплыла.

Я все еще спорила: с браком, с городом, с собой. Но сегодня, слушая маму, я впервые за долгое время не спорила хотя бы одну минуту.

Я думала о том, что мама увидит, если я приеду. Она всегда видела: в детстве она угадывала мои болячки раньше, чем я успевала заплакать. Вручить ей вежливое «все хорошо» значило подать ей на блюде ту самую ложь, которую она ненавидела больше всего. Я умела врать в Москве, где никто не знал меня ребенком. Но там, за океаном, я снова стану девочкой, которая не умеет, — и первое, о чем она спросит, будет не о деньгах и не о муже. Она спросит, счастлива ли я. И я не знала, смогу ли посмотреть ей в глаза и соврать.

Мама говорила: совесть — это голос бабушки, который не замолкает. Я слышала его с детства: бабушка рассказывала, как пахнет океан по утрам, когда рынок еще закрыт, а рыбаки уже вернулись, и я убегала в эти рассказы, когда настоящее становилось тесным. Я убежала в них и сегодня, в машине, за окнами которой плыл чужой город.

Дмитрий свернул во двор, и башня выросла перед нами, вся в огнях, от горизонта до неба. Я вышла на тротуар, и ветер с реки ударил в лицо — холодный, честный. Я подняла голову и посмотрела вверх, на свой этаж, и впервые за долгое время подумала не «домой», а «наверх».

Вернувшись в квартиру, я открыла кодовый замок, и тишина пентхауса поглотила меня. Поездка в лифте была отдельным уроком переходов: лобби с швейцаром и люстрами, коридор со звуконепроницаемыми стенами, клавиатура с четырехзначным кодом, который менялся каждый месяц. Каждый слой фильтр, не пускающий снаружи внутрь. Я закрыла дверь спальни и встала посреди мраморной ванной, лицом к зеркалу.

Я посмотрела на себя, как не смотрела неделями. Темная кожа, отмечающая меня как мамину дочь: кофе и карамель, тепло карибского солнца, вшитое в мои гены. Темные кудри, падающие на плечи, дикие, непокорные, плод поколений женщин, отказавшихся быть прямыми. Золотая подвеска у горла. Бриллиант на левой руке, полтора карата, безупречный, тяжелый.

«Цепь», подумала я. «Не украшение, а цепь».

Я коснулась кольца, повернула его на пальце. Оно поймало свет и рассыпало его радугами по мраморной столешнице. Я сама его выбирала: солитер, классика, то, чего, по общим представлениям, хочет каждая девушка. Но теперь оно казалось тяжелее, чем в ювелирном. Тяжелее с каждым днем, будто тянет меня вниз.

Выходя за Амира, я говорила себе, что это хороший ход. Он успешен. Он щедр. Он увезет меня из Дохи, даст мне образование, на которое отец неохотно давал деньги дочери. Я говорила себе, что делаю выбор, а не иду на компромисс.

Но стоя в мраморной ванной перед собственным отражением, я не была уверена, что вообще делала какой-то выбор.

Мне было девятнадцать. Я боялась остаться позади, боялась быть слишком темной и слишком другой и слишком многой для маленького мира, в котором выросла. Амир появился с обещаниями Европы, образования, жизни больше той, в которой я родилась. Он сбил меня с ног и посадил в клетку с золотыми прутьями.

Я сказала «да».

И вот я стою в ванной размером со всю мою детскую комнату, с кольцом, которое стоит больше маминого дома, и чувствую себя меньше, чем когда-либо.

Я думала об Адриане.

Потертая кожаная куртка. Серые глаза. То, как он смотрел на меня в библиотеке: не на обручальное кольцо, не на кожу, не на имя. На меня. На ту часть, что я так долго прятала, что почти забыла о ее существовании. Я думала о том, как он сидел напротив, плечи напряжены, челюсть сжата, будто он удерживает себя от чего-то. От чего? От того, чтобы дотронуться до меня? От того, чтобы сказать все, что думает?

Я думала о том, как он произнес «ты единственная, кто может держать уровень», с неохотным уважением в голосе, как его внимание обострялось, когда я говорила. Никто в Москве не смотрел на меня так. Ни Амир. Ни жены за бранчем. Ни студенты, шепчущиеся за спиной.

Только он.

Я вышла из ванной, открыла ноутбук и набрала его имя в поиске.

Адриан Кузнецов. Электросталь. Региональный медицинский университет.

В соцсетях его было немного: пустая страница без аватарки, пара записей многолетней давности. Но одна фотография нашлась. Ей было два года, до его перевода. Он стоял на мосту над морем, куртка застегнута до подбородка, волосы развеивает ветер. Он не улыбался. Он выглядел так, будто застрял посреди мысли, которую не хотел доводить до конца.

Я сохранила фото на рабочий стол.

«Это ничего не значит», сказала я себе. «Он сокурсник. Соперник. Предмет любопытства».

Но я открыла файл и переименовала его с «адриан-группа» на «запомнить».

И закрыла ноутбук, больше на него не глядя.

Поздний день тянулся медленно, как патока. Шесть часов. Семь. Амир не звонил, не писал — в этом не было ничего нового, просто сегодня тишина ощущалась иначе, с привкусом кислоты: я сама ее выбрала.

Я заварила чай и стояла у окна, глядя, как город зажигается. Огни вспыхивали не все сразу, а по одному, этаж за этажом, и это было похоже на пульс: у города есть пульс, если смотреть сверху достаточно долго.

«Подмышечный нерв», сказала я вслух.

Голос прозвучал в пустой комнате чужим. Я повторила: «Плечевое сплетение. Задний пучок. Лучевой нерв». Слова были деревянными, русские звуки не помещались в рот. Я произнесла их еще раз. Потом еще. В пустой квартире никто не слышал, как дочь Дохи репетирует

русские термины, и я подумала: странно, что для практики мне понадобилась пустая квартира — будто я прячу оружие.

Завибрировал телефон. Лейла: «Фатима сегодня была несносна. Не принимай на свой счет».

Я смотрела на экран дольше, чем нужно. Лейла была единственной из пяти, кто протянул руку, — и я знала цену этой руке: у нее свой муж, свои правила, по которым она играет и даже эта «рука» непременно в них вписывается. Но она протянула. Я ответила коротко: «Не принимаю. Спасибо». И подумала, что это тоже часть улыбки, которую я ношу, — только теперь я хотя бы решаю, кому улыбаюсь.

Высоко над городом, в темном небе, медленно двигался огонек — самолет. На запад, подумала я. Туда, где океан, где жасмин у окна и мамин голос, зовущий ужинать. Я проводила его взглядом до самого края окна.

Я произнесла еще раз, медленно, по слогам: «Под-мы-шеч-ный нерв». Лучше. Завтра я скажу это при нем, и он не усмехнется.

Я открыла тетрадь, ту, что вела с первой пары, и записала слова столбиком: трахея, пищевод, лучевой, подмышечный. Русские слова приходили ко мне медленно, как гости, которые не уверены, что их приглашали: сначала жесткие, потом привычные, а однажды я поймала себя на том, что думаю по-русски — без перевода, без счета, просто думаю. Сегодняшняя запись — слово «подмышечный» я вывела с нажимом на «ы» и поймала себя на том, что оно зазвучало почти по-русски.

Я подумала: интересно, какие слова он записывает в свою тетрадь.

И сразу запретила себе думать об этом.

Допила чай. Взяла конспект по фармакологии и села там, откуда был виден и город, и дверь: чтобы к моменту, когда он вернется, я была спокойна, занята, на месте. Чтобы не оставалось вопросов, на которые я не готова отвечать.

В тот вечер Амир вернулся поздно. Я слышала, как в замке поворачиваются ключи, как щелкает дверь, как шуршит снимаемое пальто. Я сидела на диване и занималась, учебники разложены по кофейному столику, за окном мерцали городские огни.

«Опять учишься», сказал он. Это был не вопрос.

«У меня экзамен на следующей неделе».

Он стоял в дверях, все еще в пальто, с портфелем в руке. Свет из коридора отбрасывал его длинную тень поперек пола гостиной. Он смотрел на меня своим обычным взглядом: оценивая, вычисляя.

«По словам Фатимы, за branчем ты казалась рассеянной».

«Я устала».

«Она считает, что ты ее недолюбливаешь».

«Она считает, что я здесь чужая».

Амир вздохнул. Поставил портфель, подошел, встал надо мной. Его рука легла мне на плечо, тяжелая, собственническая.

«Ты своя», сказал он. «Ты моя жена. Ты своя там, куда я тебя поставил».

«Там, куда я тебя поставил».

Слова ударили, как холодная вода. Я подняла на него глаза, ища в его лице того человека, за которого, как мне казалось, я вышла замуж: того, кто ухаживал за мной цветами и обещаниями, кто говорил, что я особенная, кто заставил меня поверить, что брак с ним — это начало чего-то, а не конец.

Я его не нашла.

«Конечно», сказала я и улыбнулась. «Я просто устала».

Он поцеловал меня в макушку. «Ложись спать. Завтра у тебя важный день».

Он ушел в спальню. Я осталась на диване, руки на закрытой обложке учебника, и смотрела на огоньки Москвы сквозь окна от пола до потолка.

Пятьдесят четвертый этаж. Миллион огней. Миллионы людей.

И только один человек во всем этом городе смотрел на меня так, будто я настоящая.

Я не стала закрывать учебники. Я открыла «Анатомию Грея» на странице семьсот восемьдесят три: подмышечный нерв, задний пучок. Я провела пальцем по рисунку, по пути ветвления, который он пропустил, а я заметила. Страница была нитью между нами, протянутой через расстояние всего города.

Я думала об Адриане и его работе, как он моет пол в выставочном центре и думает о плечевом сплетении. Я представляла пустые залы, эхо его шагов, едкий запах химии, который он, наверное, давно перестал замечать. Я представляла его руки вокруг ручки швабры, те самые руки, что держали скальпель с такой точностью. Я гадала, о чем он думает, пока работает. Я гадала, думает ли он обо мне вообще.

«Буду поправлять тебя каждый раз», сказала я тогда.

Я водила пальцем по ходу нерва на странице, от начала до конца. Потом закрыла книгу, положила ее на стол и выключила свет. Город за окном все еще не потемнел, звезды не видны за заревом города.

Я долго не могла уснуть. Я лежала в темноте, ощущая пустое место рядом, там, где был Амир, углубление от его тела все еще теплым на матрасе. Я чувствовала на губах вкус его одеколона, и руку его на плече, как штамп владения. «Ты своя там, куда я тебя поставил». Слова крутились в голове без конца. «Куда я тебя поставил».

А потом на темном экране моих сомкнутых век возникла другая картина. Серые глаза. Кожаная куртка, потертая на локтях. То, как он сказал «я был неправ», как будто признание чего-то ему стоило. То, как он глядел на меня через библиотечный стол, будто я самое интересное, что он видел за годы.

Я не знала, что я чувствую. Я не хотела давать этому имя. Но оно было там, под ребрами, маленькое и ровное тепло.

В темноте я открыла глаза.

Свет города лежал на потолке размытыми пятнами: красное, белое, снова красное — реклама на соседней башне. Ей было все равно, что я не сплю. Где-то в глубине квартиры щелкал холодильник, за стеной негромко работал лифт: поднимался, останавливался, поднимался снова.

Я лежала и слушала, как дышит дом. Здесь было тихо всегда — так тихо, что слышно, как остывает мрамор. В трубах вода пела что-то настойчивое, как напевала мама, когда шила: тихо, по-испански, себе под нос, — и я засыпала под это в детстве, еще в той, старой, жизни.

Я потянулась к тумбочке и взяла телефон. Экран вспыхнул, ударил по глазам, и я почти положила его обратно. Потом все-таки открыла файл.

«Запомнить».

Фотография была та же: серое небо, воротник, втянутый в плечи, мальчик, застрявший посреди мысли, которую не хочет доводить до конца. Я смотрела не на лицо — на ветер: на то, как куртка прижата к телу, как он стоит один на фоне воды, будто весь мир условился не подходить к нему ближе.

Я смотрела дольше, чем собиралась.

Я увеличила снимок и двигала рамку пальцем: сначала ботинки, потом воротник, потом снова лицо — будто искала на нем что-то, чего не умела назвать. Нашла только то же: мальчик, застрявший посреди мысли.

Потом погасила экран и положила телефон экраном вниз. Теплое место под ребрами никуда не делось: оно лежало там, маленькое и ровное, как камешек, который держат в кулаке.

Я держала. Я не знала, что это. Я не хотела знать. Я только сжала ладонь и разрешила себе не разжимать ее до утра.

Я поймала себя на том, что улыбаюсь в темноте. Это было так непривычно, что на мгновение я испугалась. А потом не стала прятать улыбку.

Когда я наконец уснула, мне приснились мост, и море, и мальчик, который не умел улыбаться и жил в Электростали.

Глава 6. Метель

АДРИАН

Снег пошел в четыре часа дня. К пяти я уже не видел здание напротив.

Я стоял у окна лаборатории анатомии и смотрел, как исчезает Москва. Город, который обычно гудел агрессией и светом, становился мягким, приглушенным, стертым. Крупные хлопья липли к стеклу, таяли и стекали по нему ручейками, похожими на слезы. Где-то там золотые купола Кремля. Где-то там больница, в которой я должен быть через три часа, отмывать кровь с полов операционных.

— Привет...

Я не обернулся. Я уже узнавал ее голос, особенно ту его высоту, когда что-то не так. Ниже обычного. Ту же. Словно струна, натянутая до предела.

«Метро закрыли, — сказала она. — Говорят, нельзя покидать кампус».

Я проверил телефон. Четырнадцать пропущенных от охраны кампуса. Сообщение от декана: все вечерние занятия отменены, студентам оставаться на месте.

Я перечитал сообщение дважды. В больнице мне платили наличными, без вопросов. Не приду я, значит, не приду: никакого больничного для таких, как я, не существует. Просто у черного входа постоит человек, пожмет плечами и отдаст смену кому-то другому. Кому-то, кто голоднее.

Мне надо было уйти час назад. Но я остался, чтобы еще раз повторить плечевое сплетение: корешки, стволы, деления, пучки, ветви. А Жасмин осталась, потому что она всегда оставалась: склонившись над конспектами, с кончиком языка наружу, когда сосредоточена.

«Мне нужно на работу», — сказал я.

Она посмотрела на меня. Эти серые глаза, цвета неба перед грозой. «Дороги непроходимы. Я только что видела, как такси занесло и врезалось в автобус».

«До больницы два километра».

«Ты умрешь».

Я чуть не улыбнулся. Чуть. «Я переживал и худшее».

Я схватил куртку. Тонкую, на подкладке из синтетического флиса, который давно потерял всякий объем. Она не была рассчитана на русскую зиму. Она была рассчитана на осень в Киеве: тогда у меня были деньги, тогда у меня была жизнь, тогда куртку покупали ради моды, а не ради выживания.

Я уже был у двери, когда она сказала: «Боковую дверь заперли. Ее заблокировали двадцать минут назад».

Я проверил. Ручка не поддавалась. Она была права. Теперь наружу только через главный вход, мимо поста охраны, через метель, которая уже заметала машины по самые стекла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.